

Елена Петровна Блаватская

Ночные видения

Околдованная жизнь Рассказ гусиного пера

Введение

Это было темной и холодной сентябрьской ночью 1884 года. Тяжелые сумерки опустились на улицы небольшого городка на берегу Рейна. Темнота могильным саваном покрыла тоскливое, ничем не примечательное фабричное местечко. Большинство обитателей городка уже давно отправились спать, чтобы дать отдых изнуренным дневным трудом членам. В большом доме было тихо, на пустынных улицах тоже царила тишина.

Я лежала на кровати, но, увы, не отдых, а болезнь приковала меня к постели, с которой я не вставала уже несколько дней. В доме было тихо, и можно было повторить вслед за Лонгфелло, что тишина казалась почти слышимой. Я отчетливо слышала гул крови, струившейся по моему больному телу с тем ровным пением, которое знакомо каждому, кто привык внимательно слушать тишину. Я прислушивалась до тех пор, пока в моем возбужденном воображении этот звук не усилился до рева воды в отдаленном ущелье или грохота мощного водопада... Затем внезапно звук изменился, и все усиливающееся «пение» слилось с другим; более приятным звуком. Это был тихий, поначалу почти неразличимый шепот. Он приближался и постепенно усиливался, раздаваясь почти у самого уха. Так раздается голос, доносящийся с другого берега голубого тихого озера, расположенного в одном из тех удивительно звонких ущелий, окруженных снежными вершинами гор. В этих ущельях воздух настолько чист, что слово, произнесенное в полумиле, раздается будто у самого вашего плеча. Да, это был голос человека, знать которого – значило почитать его. Этот голос чрезвычайно дорог и свят для меня из-за многочисленных и светлых мгновений, которые связывали нас. Этот голос я знала многие годы и всегда была рада его слышать, особенно в часы душевного или физического страдания, потому что он всегда приносил мне луч надежды и утешения.

– Будь мужественной, – тихо и нежно шептал он. – Вспомни о днях, проведенных нами в сладостном общении, вспомни о великих уроках природных истин, о многочисленных ошибках людей, пытающихся познать эти истины. Вспомни и прибавь к ним то, что узнаешь этой ночью в темном городе. Пусть же рассказ о странной жизни, который наверняка заинтересует тебя, поможет тебе в часы страданий... Итак, слушай внимательно. Смотри прямо перед собой!

За окном густой белесый туман извивался как гигантская тень огромного удава, медленно разворачивающего свои петли. Постепенно туман исчез, превратившись в яркий, мягкий, серебристый свет. Казалось, оконные стекла отражали тысячи лунных лучей и тропическое звездное небо. Свет этот шел с улицы, затем он переместился вглубь пустых комнат. Туман протянулся к моему дому через улицу, словно сказочный мост, соединяющий околдованные окна дома напротив с моим балконом, и не только с балконом, но и с кроватью, на которой я лежала. Я продолжала смотреть. Вдруг стены и окна напротив исчезли вместе с самим домом. Пространство за окном заняла одна небольшая комната в маленьком швейцарском домике. Это был кабинет, его стены заставлены книжными полками с множеством старинных фолиантов и современных книг. В центре – большой старинный стол, заваленный рукописями и письменными принадлежностями. За столом сидел угрюмый и худой как скелет старик с таким бледным и изможденным лицом, что свет небольшой настольной лампы двумя яркими пятнами отражался на его широких скулах, как будто

вырезанных из слоновой кости. В руке он держал гусиное перо.

Я приподнялась на локоть, чтобы получше разглядеть его, и тут же видение швейцарского домика, кабинета, стола, книг и писца замерцало и придвинулось ко мне. Оно приближалось все ближе и ближе до тех пор, пока не скользнуло бесшумно по призрачному облачному мосту через улицу и не вошло через открытые окна в мою комнату, остановившись прямо перед моей кроватью.

– Слушай, что он думает и сейчас будет писать,– успокаивающе сказал все тот же далекий и в тоже время такой близкий голос.– Сейчас ты услышишь рассказ, который поможет тебе скоротать долгие бессонные часы и забыть на время боль. Итак, слушай! – добавил он, воспользовавшись известной розенкрейцерской каббалистической формулой.

Я попробовала услышать то, о чем он мне говорил. Я сконцентрировала все свое внимание на одинокой фигуре работающего человека, сидящего прямо передо мной, но не видящего меня. Сначала скрип гусиного пера, которым старик писал, не напоминал мне ничего, кроме тихого, почти неслышного, журчания неизвестной природы. Затем постепенно мои уши стали различать едва слышимые слова, произносимые тихим, слабым и далеким голосом. Я подумала, что человек, сидящий передо мной, наклонился над своей рукописью и читает свой рассказ вслух и записывает его. Но очень скоро я поняла свою ошибку. Бросив взгляд на лицо старого писца, я тут же заметила, что губы его были сжаты и неподвижны, а голос, который я слышала, был слишком тонок и пронзителен для старика. При каждом слове, которое выводила на бумаге старая слабая рука, из-под пера выскакивала легкая яркая искорка, которая тут же превращалась в звук, или, по крайней мере, превращалась в звук в моем внутреннем восприятии. И в самом деле, я слышала тихий голос гусиного пера, хотя вполне возможно, что и писец, и перо находились в этот момент в сотнях миль от Германии. Такое иногда случается, особенно ночью, под чьей звездной сенью, как говорит Байрон:

Мы узнаем язык иного мира.

Как бы то ни было, слова, произнесенные гусиным пером, в течение многих дней жили в моей памяти. Я не испытывала никаких затруднений, когда села за стол, чтобы записать их, потому что они были словно выдавлены на астральных таблицах, возникавших прямо перед моим внутренним взором.

Таким образом, мне оставалось только переписать и передать их вам в том виде, в каком я сама получила их. Я не смогла узнать имени ночного незнакомца. Читателям может показаться, что вся эта история придумана или просто приснилась мне. Тем не менее, я надеюсь, что мой рассказ все же окажется достаточно интересным.

I Рассказ незнакомца

Я родился в маленьком горном селе. Это была горстка швейцарских домиков, прятая в укромной солнечной долине между двух сбегаящих по крутому склону ледников и с высоким пиком за ней. Вершину его покрывали вечные снега. Туда же я вернулся тридцать семь лет назад, искалеченный душой и телом, вернулся только для того, чтобы умереть, если только смерть возьмет меня. Но чистый бодрящий воздух родины распорядился иначе. Я все еще жив, хотя, может быть, сил у меня хватит лишь на то, чтобы поведать о событиях, которые до сих пор держал в глубокой тайне от всех, поведать ужасную историю, которую мне скорее хотелось бы скрыть, чем рассказать. Причина такого нежелания кроется в образовании, которое я получил в детстве и юности, а так же в последующих событиях, которые оболгали, обратив в ничто, все самое дорогое, что у меня было. Некоторые наверняка будут склонны увидеть в этих событиях высший промысел, я же, однако, не верю в провидение и все же не могу отнести случившееся к простой игре случая. По-моему, произошедшее представляет собой развитие следствий, вызванных вполне определенными, прямыми причинами, причем в основе всего лежит одна первичная и

основная причина, которая и вызвала все последствия. Теперь я уже дряхлый старик, но физическая слабость не сказалась на моих умственных способностях. Я помню мельчайшие подробности того события, которое стало страшной причиной столь трагических последствий. И это еще раз доказывает реальное существование того, кого мне бы очень хотелось считать порождением моей фантазии – о, если бы это только было возможно – порождением моей фантазии, мимолетным образом лихорадочного кошмарного сна! О, это ужасное, тихое, всепрощающее, святое и уважаемое Существо! Именно это сосредоточие всех добродетелей наполнило злобой и горечью всю мою жизнь. Это он вырвал меня из монотонной, но спокойной и надежной колеи повседневности и заставил меня поверить в жизнь после смерти, сделав мое чудовищное состояние еще более ужасным.

Чтобы прояснить ситуацию, мне придется прервать свои воспоминания и сказать несколько слов о себе. О, как бы я хотел уничтожить этого ненавистного себя!

Я родился в Швейцарии. Родители мои были французами, для которых вся мудрость мира была сосредоточена в литературной троице – Вольтер, Жан-Жак Руссо и Гольбах. Образование получил в Германии в университете. Я вырос последовательным материалистом и убежденным атеистом и не мог себе представить, что какое-либо существо стоит над или хотя бы вне видимой природы и отличается от нее. Поэтому я считал химерой все, что не поддается строжайшему анализу наших чувств. Я утверждал, что душа, даже если она имеется у человека, должна быть материальной. Согласно определению Оригена, латинское слово *incorporeus* – эпитет, которым он снабдил своего бога, обозначает субстанцию, более тонкую, чем та, из которой состоят физические тела и о которых мы, в лучшем случае, способны иметь лишь смутное представление. Разве то, о чем наши чувства не дают нам ясного представления, может стать видимым или проявлять себя как либо в наших ощущениях?

В соответствии со своими взглядами я выслушивал с чувством величайшего презрения рассказы о зарождающемся спиритизме, а к одобрительным словам о нем некоторых священников относился с насмешкой, часто граничащей со злостью. И в самом деле, последнее чувство никогда не покидало меня.

Паскаль в восьмом акте своих «Размышлений» признает, что невозможно с полной определенностью утверждать о существовании Бога. Как и он, я всю жизнь прибывал в полной уверенности, что никакого экстракосмического существа нет. Я повторял вслед за великим мыслителем те памятные слова, в которых он говорит: «Я тщательно изучал, не оставил ли Бог, о котором говорит весь мир, каких-либо следов. Я искал их везде, но нигде ничего не нашел. Природа не может предложить мне ничего такого, что не вызывало бы сомнений и беспокойства». Также как и он, я не нашел ничего, что могло бы разрушить мои убеждения, часто даже более сильные, чем у него. Я никогда не верил и никогда не поверю в это верховное существо, но я уже больше не смеюсь над возможностями человека, о которых так широко говорят на востоке, над силами, которые настолько сильно развились в некоторых людях, что по существу сделали их богами. Вся моя искалеченная жизнь протестует против отрицания этих возможностей. Я верю в подобные явления и проклинаю их всегда и везде, что бы их не порождало.

После смерти моих родителей и неудачного судебного процесса о наследстве я потерял большую часть своего состояния и решил сам составить себе новое, не столько ради себя, сколько ради тех, кого любил больше всего на свете. Моя старшая сестра, которую я обожал и боготворил, вышла замуж за бедного человека. Я принял предложение богатой гамбургской компании и отправился в Японию в качестве одного из ее младших представителей.

В течение нескольких лет мои дела протекали успешно. Я вошел в доверие множества влиятельных японцев, чье покровительство позволяло мне путешествовать и заключать сделки в тех местах, куда, особенно в те дни, иностранцев не допускали. Так как я относился равнодушно ко всем религиям, меня заинтересовала философия буддизма, единственная религиозная система, которую, по моему мнению, можно действительно назвать

философской. Поэтому в свободное время я посещал самые замечательные храмы Японии и самые значительные и любопытные из девятиста шести буддистских монастырей Киото. Шаг за шагом я осмотрел Дай-Боотзоо с его гигантским колоколом, Дзеонене, Энарино-Яссеро, Ки-Миссоо, Хигадзи-Хонг-Вонси и множество других знаменитых храмов.

Прошло несколько лет, и за все это время я не только не излечился от своего скептицизма, но даже и не подумывал о том, чтобы изменить свое мнение по этому вопросу. Я высмеивал претензии японских бонз и аскетов так же, как я высмеивал христианских священников и европейских спиритуалистов. Я не верил в возможность приобретения неизвестных и никогда не изучавшихся людьми науки сил, поэтому я высмеивал подобные вещи. Особенно смехотворными казались мне слова суеверных и меланхоличных буддистов, которые учили избегать наслаждений, обуздывать страсти и делать себя одинаково нечувствительными и к счастью, и к страданиям для того, чтобы приобрести какие-то химерические силы.

Однажды, и этот трагический день навсегда останется в моей памяти, я познакомился с почтенным и ученым бонзой, японским жрецом по имени Тамоора Хидейери. Я встретил его у подножия золотой Куон-Он, и с того момента он стал моим самым лучшим и надежным другом. Несмотря на величайшее и искреннее уважение к нему, я никогда не упускал возможности посмеяться над его религиозными убеждениями и очень часто причинял ему боль своими насмешками. Но мой старый друг был мягким и добрым человеком, каким и должен быть буддист. Мои поспешные саркастические замечания никогда не возмущали его, и, даже если они были, по меньшей мере, двусмысленны с точки зрения приличий, его возражения обычно ограничивались фразой: «Подождите и вы увидите сами». Точно также он никогда не мог всерьез поверить в искренность моего отрицания реальности существования Бога или богов. Полное значение терминов «атеист» и «скептицизм» оставались за пределами понимания этого необычайно умного и наблюдательного во всем остальном человека. Как некоторые почтенные христиане, он не был способен понять, что разумный человек может предпочесть мудрые заключения философии и современной науки смехотворной вере в невидимый мир, наполненный богами, духами, джинами и демонами. «Человек – существо духовное», – настаивал он, – «которое возвращается на землю более чем один раз и между этими возвращениями его либо награждают, либо наказывают». Предположение о том, что человек – лишь куча организованной, сконструированной пыли или праха, было за пределами его понимания. Как и Иеремия Коле, он отказывался признать, что он сам не более, чем «ходячая машина, говорящая голова, в которой нет души», чьи «мысли подчиняются законам движения». Он говорил: «Если мои действия предписаны мне заранее, как вы утверждаете, у меня не может быть свободы или свободной воли, способной изменить направление своего действия, так же как и у воды, протекающей в той реке». Если бы это было так, славное учение кармы, учение о вознаграждении добродетели и воздаяние за грехи действительно было бы глупостью.

Таким образом, вся гиперметафизическая онтология моего друга основывалась на шаткой надстройке метемпсихозиса, на воображаемых справедливых законах воздаяния за грехи и других столь же бессмысленных мечтаниях.

– Мы не можем, – парадоксально заявил он однажды, – надеяться на жизнь после смерти и наслаждение полнотой сознания, если мы не построим для этого прочный и надежный фундамент духовности до нашей смерти... нет, не смейтесь, друг мой, ни во что не верящий, – умолял он меня, – лучше подумайте, поразмыслите над этим. Тот, кто никогда не учился жить в Духе в его сознательной жизни, полной ответственности, вряд ли может надеяться на то, что ему удастся насладиться жизнью после смерти, когда он, лишенный тела, останется целиком в состоянии Духа.

– Что вы имеете в виду под словами «жизнь в Духе»? – поинтересовался я.

– Это жизнь в духовной плоскости, то, что буддисты называют «Ташита Девалока» (Рай). Человек может создать себе счастливую жизнь между двух смертей постепенным переходом к духовной плоскости и ее возможностям, проявляющимся в его земной жизни

только в его органическом теле и, как вы его называете, в животном мозгу...

– Какая бессмыслица! И как же человек может добиться этого?

– Созерцание и сильное желание соединиться со святыми божествами поможет человеку достичь этого.

– А если человек откажется от такого умственного занятия, под которым вы, по-моему, предполагаете созерцание кончика своего носа, что с ним будет после смерти его тела? – насмешливо спросил я его.

– С ним поступят в соответствии с господствующим состоянием его сознания, в котором существует множество градаций. В лучшем случае за смертью последует немедленное перевоплощение и рождение заново, в худшем – его ожидает состояние «авитчи» или душевных мук ада. Однако человеку не обязательно становиться аскетом для того, чтобы слиться с духовной жизнью, которая продолжится после смерти. От него требуется только одно – постараться приблизиться к Духу.

– Каким образом? А если человек не верит в это? – снова спросил я его.

– Даже если не верит! Можно не верить, но сохранить в душе место для сомнений, сколь бы мало не было это место. И он может попытаться однажды, хотя бы на одно мгновение, приоткрыть дверь внутреннего храма, и этого будет достаточно.

– Мой почтенный господин, ваши рассуждения очень поэтичны и к тому же парадоксальны. Не могли бы вы еще немного рассказать мне об этих таинственных силах?

– Здесь нет никакой тайны, и я охотно объясню. Предположим на мгновение, что духовная плоскость или духовный уровень, о котором я говорил – это какой-то неизвестный храм, в котором вам еще не доводилось быть, и существование которого у вас есть основание отрицать. И вот, кто-то берет вас за руку и подводит к храму, а любопытство заставляет вас открыть его двери и заглянуть вовнутрь. Вот этим простым действием – тем, что вы заглянули на секунду – вы навсегда устанавливаете связь между вашим сознанием и этим храмом. Вы уже больше не можете отрицать его существование и не можете стереть из своей памяти то, что уже однажды входили в него. А далее, в соответствии с характером и разновидностью ваших трудов, и, разумеется в пределах, освященных границами храма, вы будете жить на этом уровне до тех пор, пока ваше сознание не отделится от своего жилища в вашем теле.

– Что вы хотите сказать? И что связывает после смерти мое сознание, если только таковое существует, с этим храмом?

– Оно во всем связано с этим храмом, – торжественно ответил старик. – Самосознание после смерти невозможно вне храма духа. Следовательно, в вашем сознании сохранится только то, что вы совершили на уровне духа. Все остальное окажется ложью и обманом зрения, оно обречено на гибель в Океане Майя.

Мысль о жизни вне моего собственного тела показалась мне забавной, я потребовал от своего друга, чтобы он рассказал мне об этом подробнее. Почтенный старик ошибся, думая, что меня увлек его рассказ и охотно согласился продолжить.

Тамоора Хидейери принадлежал к великому братству храма Дзионене, буддистского монастыря, который известен не только в Японии, но и по всему Тибету и Китаю. Никакой другой монастырь не почитается так высоко в Киото. Монахи этого братства принадлежат к секте Дзено-доо и считаются самыми учеными среди множества монашеских братств, славящихся своей эрудицией. Более того, они тесно сотрудничают с ямабуши (аскетами или отшельниками), которые следуют доктринам Лао-цзы. Так что нет ничего удивительного в том, что малейший намек на интерес с моей стороны вызвал у священника поток столь высокой метафизики. С ее помощью он надеялся излечить меня от неверия.

Здесь нет необходимости повторять длинную и сложную систему самого безнадежно запутанного и непостижимого из учений. Согласно его мировоззрению, нам необходимо тренировать себя для духовной жизни в мире ином так же, как можно тренироваться в гимнастике. Продолжая аналогию между храмом и «духовным уровнем» он попытался проиллюстрировать свою мысль. Сам он работал над собой в храме Духа две трети своей

жизни и каждый день несколько часов посвящал созерцанию. Он знал, что после того, как он сбросит с себя свое смертное одеяние, то есть то, что он называет «обычной иллюзией», в своем духовном сознании он сможет снова и снова пережить чувство облагораживающей радости и божественного счастья, которые он уже испытал, пребывая в храме Духа, или которые должен был испытать там, только после смерти они будут в сотни раз сильнее. Он много работал над собой на духовном уровне, как он говорил, поэтому надеялся, что будущее справедливо заплатит ему за труды.

— Но, предположим, что, как и в том примере, о котором мы говорили, работающий только приоткрыл дверь храма и заглянул туда из простого любопытства. Он заглянул в святилище и никогда больше не переступал порога. Что тогда?

— Тогда,— ответил он, в вашем будущем самосознании останется только это краткое мгновение, мгновение открываемой двери и ничего более. Наша жизнь после смерти повторяет и производит только те впечатления и чувства, которые были у нас в мгновения духовной жизни. Таким образом, если вы, заглянув на мгновение в жилище духа, таили в своем сердце гнев, ревность или боль вместо смиренного почитания, тогда ваша будущая духовная жизнь, по правде говоря, будет печальной. В ней нечего будет воспроизвести кроме того самого мгновения, когда вы открыли дверь в порыве гнева или просто дурного настроения.

— Каким образом это будет повторяться? — настойчиво спросил я его в сильном изумлении.— Что же, по-вашему, со мной случится перед тем, как мне снова придется воплотиться?

— В этом случае,— проговорил он медленно, взвешивая каждое слово,— вам придется, скорее всего, открывать и закрывать дверь храма снова и снова, и время, которое уйдет у вас на это закрывание и открывание двери, вам покажется вечностью.

Такое занятие после смерти показалось настолько забавно-гротескным и бессмысленным, что меня потряс совершенно произвольный сильнейший приступ смеха.

Мой почтенный друг был сильно напуган, увидев последствия своего урока метафизики. Очевидно, он не ожидал от меня такого буйного веселья. Однако он ничего не сказал, а со все усиливающимися добротой и жалостью, которые светились в его узких глазах, продолжал смотреть на меня.

— Прошу вас, простите мне этот смех,— извинился я,— но скажите, неужели вы со всей серьезностью заявляете мне, что то самое «духовное состояние», которое вы проповедуете, и в которое так твердо верите, заключается в том, что мы будем повторять некоторые вещи, которые делали в реальной жизни?

— Нет, нет, не повторять, но усиливать их повторение, заполняя промежутки между поступками и делами, совершенными нами на духовном уровне, единственно реальном уровне существования. Я всего лишь привел пример, и без сомнения для вас, как и для всякого человека, совершенно незнакомого с таинствами видения души, мой рассказ был не очень понятен. Я сам во всем виноват... Я просто хотел показать вам, что в духовном состоянии наше состояние освобождается от тела, и что это состояние есть плод каждого духовного поступка, совершенного в земной жизни, и, если такой поступок лишен духовности, мы не можем ожидать никаких других результатов, кроме повторения самого поступка, вот и все. Я молю богов о том, чтобы они избавили вас от таких бесплодных дел и помогли вам в конце концов увидеть определенные истины.— И затем, после обычной японской церемонии прощания этот прекрасный человек ушел.

Увы, увы, если бы я только знал тогда то, что знаю сейчас, мне бы и в голову не пришло смеяться. И как много я смог бы узнать!

Но чем сильнее становились мои привязанность и уважение к этому человеку, тем в меньшей степени я был способен смириться с диким учением о жизни после смерти и особенно с его словами о людях, которые обрели сверхъестественное могущество. Особое отвращение вызывало во мне его почтительное отношение к ямабуши, этим союзникам каждой буддистской секты в стране. По моим представлениям их претензии на чудодействие

были ложью. Тогда, по крайней мере, я никак не мог примириться с тем, что каждый японец, которого я знал в Киото, даже мой собственный деловой партнер, а это был самый проницательный из всех, с кем мне приходилось сталкиваться на востоке, всегда упоминал этих последователей Лао-цзы с глазами, опущенными долу, почтительно сложив руки, каждый раз подтверждая то, что они обладают «великим» и «чудесным» даром. Да кто они в конце концов, эти великие волшебники с их смехотворными претензиями на «сверхмирные» знания?! Кто они такие, эти «святые нищие», которые, как я считал тогда, специально живут в расщелинах малонаселенных гор и на недоступных скалах, чтобы застраховать себя от случайных прохожих, которые смогут обнаружить их шарлатанство, наблюдая за ними в их собственном логове! Да это же просто наглые гадалщики, японские цыгане, которые продают амулеты и талисманы! Вот кто они такие. И с наибольшей яростью и самым твердым убеждением в своей правоте я спорил с теми, кто пытался убедить меня, что ямабуши живут загадочной жизнью, никогда не допуская непосвященных в свои тайны. Но иногда они все-таки принимают учеников, и, хотя быть учеником ямабуши очень трудно, такие люди есть, и поэтому у ямабуши есть живые свидетели, которые могут подтвердить величественную чистоту их жизни. В своих спорах я оскорблял и учителей, и учеников, называя их дураками, если не мошенниками, и доходил в своей ярости до того, что включал их в ряды членов Синто. Синтоизм или Син-Сын, вера в богов или в путь к богам – это вера в общение между божественными существами и людьми. Как религиозное течение синтоизм напоминает поклонение духам природы, и с этой точки зрения, пожалуй, ничего не может быть глупее. Поместив всех членов общества Син-Сын среди дураков и мошенников других сект, я приобрел множество врагов. Это произошло потому, что Синто Кануси (духовные учителя) считаются наивысшим классом общества и сам Микадо стоит во главе их иерархии. В их секту входят самые культурные и образованные люди Японии. Эти кануси секты Синто не принадлежат к какой-то одной касте или классу. Кроме того, они не проходят никакого обряда посвящения, по крайней мере, известного тем, кто не принадлежит к этому обществу. Поскольку они никогда не требуют для себя особых привилегий и прав, а одеваются так же, как и все остальные непосвященные, очень часто для окружающих они остаются профессорами или студентами, изучающими различные оккультные или духовные науки, поэтому я очень часто встречался и разговаривал с ними, даже не подозревая о том, с кем имею дело.

II Таинственный посетитель

Прошли годы. Со временем мой неистребимый скептицизм усиливался и становился яростнее день ото дня. Я уже говорил о своей старшей любимой сестре, моей единственной родственнице, оставшейся в живых. Она вышла замуж и недавно переехала жить в Нюрнберг. Я относился к ней скорее как к дочери, чем как к сестре: ее дети были так же дороги мне, как если бы они были моими собственными. Когда в течение нескольких дней мой отец потерял все свое состояние, а у матери не выдержало сердце, именно моя старшая сестра стала ангелом-хранителем нашей бедной семьи. Из любви ко мне, младшему брату, она делала все, чтобы оплатить мою учебу, отказываясь от личного счастья. Она пожертвовала собой ради близких людей, помогая отцу и мне, до бесконечности откладывая свою свадьбу. Как я любил и почитал ее! Время только усиливало мои семейные чувства. Те, кто считает, что атеист вообще не способен быть настоящим другом, любящим родственником или верным подданным, произносят сознательно или бессознательно величайшую клевету и ложь. Это огромная ошибка говорить, что материалист с годами ожесточается, что он не может любить так, как любит человек, верующий в Бога.

Правда, бывают и исключения, но, как правило, люди, о которых идет речь, больше самолюбивы, чем скептически, или просто грубо чувственны. Но если человек добродушен по своей природе, и у него нет никаких мотивов, кроме любви к разуму и истине, и если такой

человек становится атеистом, его семейные чувства, любовь к близким ему людям только усиливаются. Все его эмоции и страстные желания, которые у людей религиозных вдохновляются невидимым и недостижимым, вся его любовь, которая в противоположном случае была бы без всякой пользы отдана воображаемому небу и божеству, обитающему на этом небе, у атеиста концентрируется и удесятывается, направляясь целиком на тех, кого он любит, и на человечество. В самом деле, только сердце атеиста

...может знать,
Таинственное тихое течение
Любви двух братьев...

Именно братская любовь заставила меня пожертвовать личными удобствами и благосостоянием, чтобы сделать сестру счастливой, чтобы принести радость той, которая стала мне ближе матери. Я был совсем мальчишкой, когда оставил свой дом в Гамбурге, и работал с отчаянной серьезностью человека, который преследует одну единственную благородную цель – избавить от страданий тех, кого любит. Я очень скоро завоевал доверие своих работодателей, и они предоставили мне высокий пост, на котором я пользовался их полным доверием. Моей первой настоящей радостью и наградой стало замужество моей сестры. Я был рад помочь им в борьбе за существование. Моя любовь к ним была такой чистой и бескорыстной, что, когда мне довелось увидеть ее детей, любовь эта, вместо того, чтобы ослабнуть, разделившись между столькими членами семьи, казалось, стала еще сильнее. Мои чувства к сестре, которые питались способностью к глубоким и теплым привязанностям в семейном кругу, были так велики, что мне и в голову никогда не приходила мысль зажечь священное пламя любви перед каким-либо другим кумиром. Семья моей сестры была единственной церковью, которую я признавал, и единственным храмом, в котором я совершал обряды поклонения перед алтарем святой семейной любви и привязанности. По существу, с Европой меня связывала только ее семья из одиннадцати человек, включая мужа. За все эти годы, а точнее за девять лет, я дважды пересекал океан с единственной целью – увидеть и прижать к своему сердцу дорогих мне людей. Мне больше нечего было делать на Западе, и, исполнив эту приятную обязанность, я всякий раз возвращался в Японию, чтобы не покладая рук трудиться ради их счастья. Ради них я оставался холостяком, чтобы богатство, которое я смогу собрать, перешло к ним целиком.

Мы переписывались с сестрой настолько часто, насколько позволяла длительность путешествия на почтовом пароходе и нерегулярность сообщения с Японией. Вдруг письма из дома перестали приходить ко мне. Почти год я не получал никаких вестей. День ото дня я становился все беспокойнее, предчувствие величайшего несчастья постепенно овладело мной. Напрасно искал я в почте какую-нибудь весточку от родных, хотя бы в несколько слов. Все мои попытки как-то объяснить это молчание были бесполезны.

– Друг мой, – сказал мне однажды Тамоора Хидейери, единственный человек, которому я доверял свои печали. – Друг мой, попросите совета у святого ямабуши, это успокоит вас.

Разумеется, я отказался от его предложения со всей сдержанностью, на какую был способен. Но пароход приходил за пароходом, а новостей для меня не было. Я чувствовал, что мое отчаяние усиливается с каждым днем. В конце концов оно превратилось в непреодолимую страсть, в отвратительное, болезненное желание узнать – пусть даже самое худшее, как мне тогда казалось. Я долго боролся с отчаянием, но оно оказалось сильнее меня. Всего несколько месяцев назад я прекрасно владел собой, теперь же я стал рабом отвратительного страха. Как философ-фаталист, последователь Гольбаха, я всегда считал необходимость всего происходящего единственной причиной и основой философского счастья. Именно необходимость помогает обуздывать человеческую слабость. И вот теперь я, философ-фаталист, желал испытать нечто такое, что сродни гаданию! Дело зашло так далеко, что я забыл первейший принцип своего философского учения – все в этом мире необходимо. Это единственный принцип, который должен утешать нас в печали и

вдохновлять на благотворную покорность, на разумное подчинение законам слепой судьбы, против которых так часто бунтуют наши глупые чувства. Да, я забыл этот принцип, и меня охватило позорное суеверное желание, глупое и низкое желание узнать если не будущее, то по крайней мере то, что происходит на другой стороне земного шара. Мое поведение, характер и интересы совершенно изменились. И вот я, как слабонервная девчонка, однажды поймал себя на мысли, что пытаюсь, напрягая свой мозг до безумия, увидеть – говорят, что у некоторых это получается – то, что происходит за океаном и узнать, наконец, реальную причину этого долгого необъяснимого молчания!

Однажды вечером, на закате, мой старый друг, почтенный Тамоора появился на веранде моего низенького деревянного дома. Я не заходил к нему несколько дней, и он пришел узнать, как я себя чувствую. Я воспользовался возможностью еще раз посмеяться над тем, кого на самом деле очень любил и уважал. Довольно двусмысленным тоном, в котором я раскаялся до того, как успел произнести свой вопрос, я спросил, зачем ему понадобилось утруждать свои ноги и идти ко мне, когда он мог просто спросить о моем состоянии какого-нибудь ямабуши. Поначалу он, казалось, обиделся, но вниматель – но посмотрев на мое расстроенное лицо, он мягко заметил, что может только еще раз предложить то, что он мне советовал уже раньше. Только один из ямабуши, этого святого монашеского ордена, может утешить меня в моем теперешнем состоянии.

Тогда мною овладело безумное желание бросить ему вызов, заставить его делом доказать свои слова. Я сказал ему, чтобы он привел кого-нибудь из этих так называемых волшебников, и пусть тот назовет мне имя человека, о котором я думаю, и расскажет, что этот человек делает в данный момент. Он тихо ответил, что мое желание легко удовлетворить. Всего в двух домах от моего дома ямабуши пришел навестить больного Синто, он может привести его ко мне, если только я пожелаю.

Я пожелал, и участь моя была решена.

Как мне найти слова, способные описать последовавшую сцену! Через двадцать минут передо мной стоял величественный старик, необычайно высокий для японца. Он был бледен и худ. Вместо ожидаемого раболепного смирения, я увидел в нем спокойное достоинство. Всякий, кто сознает свое нравственное превосходство с равнодушным презрением смотрит на ошибки других. Он не отвечал на мои насмешливые непочтительные вопросы, которые я лихорадочно задавал ему один за другим. Он молча смотрел на меня, как врач на бредящего пациента; когда его глаза остановились на мне, я почувствовал, или скорее увидел, как яркий и острый луч света, словно серебряная нить, вырвался из черных узких глаз, глубоко посаженных на его желтом лице. Этот луч или нить, казалось, проникли в самый мой мозг и сердце, как стрела, и начали извлекать оттуда мои мысли и чувства. Да, я видел и чувствовал это, и очень скоро это стало невыносимым.

Я не выдержал и с вызовом в голосе предложил рассказать мне, что он прочитал в моих мыслях. Он спокойно и правильно ответил на мой вопрос: меня беспокоила, чрезвычайно беспокоила судьба родственницы, ее мужа и детей. Он правильно описал мне их дом, как будто знал этот дом так же хорошо, как и я. Я бросил подозритель – ный взгляд на своего друга, бонзу, который мог заранее рассказать все это ямабуши. Однако я вспомнил, что Тамооре не было известно, как выглядит дом моей сестры, а японцы, как правило, правдивы и остаются друзьями до самой смерти. Мне стало стыдно за свое подозрение. Чтобы как-то загладить вину перед собственной совестью, я спросил у отшельника, не мог бы он рассказать мне, что сейчас происходит с моей любимой сестрой. «Иностранец, – ответил он мне, – не поверит ни чьим словам и никаким знаниям из чужих уст. Если ямабуши скажет мне, то впечатление от его слов рассеется через несколько часов и спрашивающий будет таким же несчастным, как и раньше. Есть только один выход: нужно сделать так, чтобы иностранец увидел все своими глазами и сам узнал истину. Готов ли спрашивающий к тому, что неизвестный ему ранее ямабуши приведет его в необходимое состояние?»

Я слышал в Европе о загипнотизированных сомнамбулах и других мошенниках, претендующих на дар ясновидения и, поскольку я в них не верил, я не имел ничего против

самой процедуры гипноза. Несмотря на непрекращающуюся душевную боль, я не смог удержаться от улыбки при мысли об операции, которая мне предстояла и на которую я шел по своей охоте. Тем не менее я с молчаливым поклоном выразил свое согласие.

III Психическая магия

Старый ямабуши не терял время даром. Он посмотрел на заходящее солнце и увидел, вероятно, что владыка Тен-Джио-Дай-Дзио (Дух, бросающий Лучи) благоприятствует надвигающейся церемонии, и быстро вынул из своей одежды небольшой узелок. В нем лежали лакированная шкатулка, кусочек зеленоватой бумаги, сделанной из коры тутового дерева и перо, которым он написал несколько предложений иероглифами. Эти иероглифы – Найдэн – использовались в специальном письменном языке для религиозных и этических целей. Закончив, он вынул из складок одежды маленькое круглое зеркальце, сделанное из стали удивительной чистоты и, поместив зеркало перед моими глазами, попросил посмотреть в него.

Я не только слышал об этих зеркалах, которые часто используются в храмах, но и часто видел их. Считается, что под управлением и по воле умелого жреца в них может появиться Дайдж-Джин, великий дух, который сообщает спрашивающим их судьбы. Поначалу я вообразил, что он намеревается вызвать такого духа, который ответит на мои вопросы, однако случилось нечто совсем иное.

Не без некоторого отвращения в душе, вызванного глубоким чувством глупости того занятия, которому предаюсь, я прикоснулся к этому зеркалу и внезапно испытал странное ощущение в предплечье руки, которой держал зеркало. На короткое мгновение я забыл о своей позиции презрительного наблюдателя и не мог с насмешкой относиться к происходящему. Неужели это страх овладел моим мозгом на мгновение парализуя его,

...тот страх, что сердце жжет
Желающее знать о том, что смерть несет.

Нет, я продолжал убеждать себя, что из этого эксперимента ничего не выйдет, что вообще ни один разумный человек не может поверить в такое. Что же это было? Какое-то странное ледяное существо проползло в моем сознании и вызвало в моей душе чувство невыразимого ужаса, как будто ядовитая змея впиалась в мое сердце. Моя рука судорожно дернулась и я уронил зеркало – краснея от стыда, да, не могу добавить эпитет волшебное – и никак не мог заставить себя поднять его с кушетки. На какое-то мгновение во мне происходила ужасная борьба между неопределенными и совершенно для меня непонятными силами, между желанием заглянуть в глубины этого полированного зеркала и моей гордыней, которую, казалось, ничто не могло победить. В конце концов желание посмотреть возобладало, и мятель гордыни был подавлен желанием бросить вызов ей же самой. На лакированном столике лежала книжка европейского романа, она была открыта. Мой взгляд случайно упал на ее страницы, и я прочел слова: «Покров, скрывающий от нас будущее, соткан любящей рукой». Этого было достаточно. Гордыня, до сих пор удерживавшая от унизительного суеверного эксперимента, теперь заставила меня бросить вызов судьбе. Я поднял зловеще сверкающий диск зеркала и приготовился заглянуть в него.

Пока я рассматривал зеркало, ямабуши сказал несколько слов Тамооре, и я тут же бросил на них украдкой подозрительный взгляд. Я снова ошибся.

– Святой человек желает, чтобы я задал вам вопрос и в то же время предупредил вас: если вы сами хотите увидеть свое будущее, вы увидите. Но вам придется подвергнуться очищению под угрозой наказания видеть свое будущее всегда, видеть все, что происходит на любом расстоянии и часто против вашей воли или желания. Итак, под угрозой такой кары вам придется вынести процедуру очищения, после того, как вы узнаете то, что вы хотите.

– В чем же состоит эта процедура и что мне придется пообещать, – вызывающим тоном

спросил я.

– Вы должны это сделать ради себя самого. Вы должны пообещать ему подвергнуться обряду очищения, иначе всю оставшуюся жизнь ему придется нести ответственность перед своей совестью за то, что он превратил вас в безответственного провидца. Вы сделаете это, друг мой?

– У нас еще будет время подумать над этим, если я увижу что-нибудь, – с издевкой ответил я, добавив про себя – в чем я глубоко сомневаюсь.

– Ну, что же, друг мой, вас предупредили. Теперь вся ответственность за последствия ляжет на вас, – услышал я его торжественный ответ.

Я взглянул на часы и сделал нетерпеливый жест. Ямабуши заметил это и правильно понял его. Было ровно семь минут шестого.

– Определите точно в уме, что именно вы хотите увидеть и узнать, – сказал мне «колдун», подавая в руки зеркало и кусочек бумаги и объясняя, что мне с этим нужно делать.

Я выслушал его объяснения скорее с нетерпением, чем с благодарностью, и на какое-то мгновение сомнение снова овладело мной. Тем не менее, я ответил ему, устанавливая зеркало в нужном положении.

– Я хочу только одного: узнать причину или причины, по которым моя сестра внезапно перестала писать мне...

Произносил ли я эти слова в действительности при двух свидетелях или только подумал об этом? По сей день я не могу решить, как было дело. Теперь я наверняка помню только одно: пока я сидел и смотрел в зеркало, ямабуши пристально смотрел на меня. Продолжалось ли это полсекунды или три часа, я так до сих пор не могу определить. Я помню каждую мелочь вплоть до того момента, когда я взял в левую руку зеркало, а бумагу с написанными на ней мистическими иероглифами зажал между большим и указательным пальцами правой руки. В этот самый момент я вдруг потерял контакт с окружающими предметами. Переход от активного бодрствующего состояния в то состояние, которое никогда раньше не испытывал, я ни с чем не могу сравнить. Все произошло очень быстро. Хотя мои глаза вдруг потеряли из виду бонзу, ямабуши, мою собственную комнату, тем не менее я четко видел свою голову и часть спины, так как сидел перед зеркалом, наклонившись. Потом вдруг возникло сильное ощущение непроизвольного рывка вперед, отрыва от чего-то, от того места, где я сидел, я бы сказал, отрыва от своего тела. И тогда, хотя все мои чувства были полностью парализованы, мои глаза, или, по крайней мере, мне показалось, что это были мои глаза, увидели такое четкое и ясное изображение нового дома моей сестры в Нюрнберге, какое они никогда не могли увидеть в действительности, поскольку я никогда не был у сестры в этом доме и был знаком с ним только по рисунку в письме. Кроме того, там были неизвестные мне детали пейзажа и обстановки. Одновременно мой мозг заполняло то, что очень походило на последние вспышки уходящего сознания – наверно, умирающие должны чувствовать себя так же. Последняя смутная мысль промелькнула у меня в голове. Мне казалось, что я вы- гляжу, наверное, очень смешным... Однако, это «чувство», поскольку – ку это было скорее чувство, чем мысль, вскоре прервалось, как будто внезапно погасло. Его закрыл внутренний образ (я не могу назвать это иначе) меня самого или, по крайней мере, того, что я считал собой, точнее, своим телом, которое лежало с посеревшим лицом на кушетке, словно мертвое, не способное отозваться ни на какое проявление внешней жизни, но все еще уставившееся холодным остекленевшим взглядом трупа в зеркало. Наклонившись над моим телом, стоял высокий ямабуши, протянув свои иссохшие руки перед собой и разрезая ими воздух над моим бледным лицом. В это мгновение я почувствовал непреодолимую, смертельную ненависть к этому человеку. Когда мне показалось, что я уже готов был броситься на этого подлого шарлатана, мой труп, комната и все, что в ней было, задрожали и заблестали в красноватом мерцающем свете и быстро поплыли от «меня» прочь. Перед моим «зрением» промелькнуло еще несколько гротескных искаженных теней, и вот с последним угасающим всплеском ужаса, невероятным усилием пытаясь понять, кто же я теперь, я почувствовал, что на меня

опускается огромный занавес темноты, который покрыл меня своим могильным саваном и последние мысли умерли во мне.

IV Ужасные видения

Как странно!.. Куда я попал?! Очевидно, я снова пришел в себя, так как вдруг ясно почувствовал, что быстро перемещаюсь вперед, испытывая удивительное ощущение, будто плыву без всякого усилия с моей стороны, плыву в полной темноте. Первой мне пришла в голову мысль о том, что я попал в длинный подземный поток воды, земли и душного воздуха и, хотя телесных ощущений, которые могли бы подтвердить присутствие вышеназванных субстанций, у меня не было, я попытался произнести несколько слов, повторить мою собственную последнюю фразу: «Я хочу только одного: узнать причину или причины, по которым сестра так неожиданно перестала писать мне», – но услышал я только последнее слово – «узнать», и даже это последнее слово донеслось до меня не из моего горла, а как бы догоняя меня будто мой голос раздавался со стороны, вне меня, рядом со мной, но не во мне, короче говоря, мои слова были произнесены моим голосом, но не моими губами...

Еще один быстрый невольный рывок, еще одно погружение в киммерийский мрак, неизвестной, по крайней мере для меня, стихии, и я увидел, что стою, действительно стою над землей. Земля тесно и плотно окружала меня со всех сторон: наверху и внизу, справа и слева, и в то же время земля не давила на меня и казалась нематериальной и прозрачной для моих органов чувств. На мгновение я осознал совершенную абсурдность, даже невозможность такого ощущения! Прошла секунда, и я увидел... С каким невыразимым ужасом вспоминаю я сейчас это! Тогда я чувствовал, понимал и запоминал события яснее, чем когда-либо. Они, казалось, не могли волновать меня. Я увидел у своих ног гроб. Это была простая, без претензий, домовина из досок, последняя обитель бедняка, в которой, несмотря на забитую крышку, я ясно увидел ужасный ухмыляющийся череп и скелет мужчины, изуродованный и разбитый во многих местах, будто его вынесли из какой-то тайной пыточной давно забытой инквизиции, где его подвергли истязаниям. – Кто бы это мог быть? – подумал я.

И в этот самый момент я услышал из далека тот же голос, мой собственный голос: – Причину или причины, по которым... – говорил он. Казалось, что эти слова последовали за тем самым предложением, которое я только что повторил, услышав одно слово – «узнать». Этот голос прозвучал очень близко, и в то же время невозможно было определить, с какого расстояния он доносится. Тогда мне и в голову не пришло, что мое долгое путешествие и последующие размышления и открытия произошли в одно мгновение. Все случилось в тот самый короткий промежуток, почти мгновенный, промежуток времени между первыми и серединными словами моего вопроса, который я начал, хотя, может быть, и не успел произнести в своей комнате, и который я только сейчас кончал прерывистыми фразами, доносившимися до меня как верное эхо моих слов и моего голоса...

Отвратительные, изуродованные останки начали принимать форму и стали походить, увы, на слишком знакомого мне человека. Переломанные, разбитые части соединялись, снова обрастали плотью, и с некоторым удивлением, но не испытывая никаких чувств, я узнал в этих изуродованных останках мертвого мужа моей сестры, моего единственного зятя, которого я так любил. – Как могло случиться, что он умер такой ужасной смертью? – спросил я себя. В моем состоянии задать себе вопрос – значило немедленно ответить на него. Не успел я задать его, как передо мной начала разворачиваться панорама. Я увидел ретроспективную картину смерти бедного Карло, увидел ее со всей отвратительной ясностью и в ужасных подробностях, которые оставили меня совершенно равнодушным. Вот он, дорогой мне человек, полон жизни и радости. Он ожидает повышения в должности и соответственно зарплаты от своего шефа. И вот он берется осмотреть и испытать новую лесопилку, огромную паровую машину, которая только что прибыла из Америки. Он наклоняется внутрь механизма, чтобы рассмотреть его получше и затянуть какойто винт,

шестерни цепляются за одежду и затягивают его внутрь машины, его члены с треском ломаются, почти отрываясь от тела, прежде чем рабочие, незнакомые с новой машиной, успевают ее остановить. Вот его, вернее то, что осталось от него, мертвого, изуродованного, вынимают из машины. Это ужасная, неузнаваемая масса трепещущей плоти! Я следую за его останками, которые в тележке доставляют в больницу. Несущим его рабочим приказывают задержать— ся и известить родных о его гибели. Я следую за ними и вижу ничего не подозревающую семью, которая тихо ожидает его прихода. Я вижу свою дорогую любимую сестру. Я остался совершенно равнодушен, увидев ее. Единственное, что я чувствую, это острый интерес к тому, что сейчас должно произойти. Мое сердце, мои чувства, даже моя личность словно исчезли куда-то и то, что осталось, принадлежит кому-то другому.

И вот я вижу, как она без всякой подготовки узнает страшную весть. Я ясно понимаю, как на нее действует этот удар. Я все вижу, за всем слежу и все запоминаю до мельчайших подробностей, все ее чувства, и даже тот внутренний процесс, который происходит в ее мозгу. Когда труп подносят к дому для опознания, я слышу долгий мучительный вопль, слышу собственное имя, произнесенное тем же голосом, и тяжелый удар живого тела, упавшего на останки. Я с любопытством слежу за внезапным возбуждением и смятением, которое охватило ее мозг. Я смотрю как резко усиливаются червеобразные резкие движения трубчатых волокон, как мгновенно изменился цвет головных окончаний нервной системы, когда волокнистое нервное вещество из белого быстро стало красным, потом темно-красным с синеватым отливом. Я замечаю внезапную вспышку фосфорического света и его мгновенное угасание, за которым последовала полная темнота, где-то в области памяти, как пятно света, которое походило на человеческую фигуру, внезапно вытекло из ее затылка, расплылось и, теряя форму, рассыпалось и исчезло в окружающей темноте. Я говорю себе: «Это безумие, пожизненное, неизлечимое безумие, поскольку основа разума не временно парализована или погашена, а навсегда покинула головной мозг, выбитая оттуда огромной силой внезапного душевного удара... разрушена связь между животной и божественной сущностью...» И когда непривычный для меня термин – «божественная» – раздается у меня в мозгу, моя «мысль» смеется.

Вдруг я слышу, как далекий и в то же время близкий голос произносит рядом со мной слова, четко выделяя каждое из них: «Почему моя сестра так внезапно перестала писать». ... И прежде, чем два последних слова завершили фразу, я вижу цепь печальных обстоятельств, следовавших за катастрофой.

Я вижу свою сестру, теперь превратившуюся в беспомощного, ничего не понимающего идиота. Ее поместили в приют для душевнобольных при городской больнице. Семеро младших детей были приняты в приют для бедных. Двух старших я любил больше всех. Мальчика пятнадцати лет берет с собой в плавание капитан торгового судна, а его младшую сестру, на год его моложе, принимает в свой дом старая еврейка. Я вижу эти события во всех ужасных и волнующих подробностях, я запоминаю каждое из них в деталях, но ум мой остается совершенно холодным.

Заметьте, когда я употребляю такие выражения как «ужасный» и так далее, их следует понимать как последующую оценку увиденного. Во время описываемых событий я не испытывал ни боли, ни радости, мои чувства, казалось, были парализованы так же, как и мое ощущение внешнего мира. Только после «возвращения» я осознал непоправимость потери. Многие из того, что я так страстно отрицал тогда, теперь, благодаря собственному печальному опыту, я должен признать. Если бы мне сказали в то время, что человек может действовать, думать или чувствовать независимо от его мозга или органов чувств, скорее благодаря какой-то таинственной, по сей день непонятной силе, если бы кто-то сказал мне, что меня в уме могло перенести за тысячи миль от моего тела, чтобы я стал свидетелем не только настоящего, но и прошедшего и запомнил увиденное, поместив его в свою память – я бы, наверное, объявил этого человека сумасшедшим. Увы, теперь я уже не смог бы сделать этого, потому что теперь я сам стал тем самым «сумасшедшим». Десять, двадцать, сорок раз в течение всей этой несчастной жизни мне пришлось испы— тать и пережить такие моменты

существования вне моего тела. Да будет проклят тот час, когда эта ужасная сила была пробуждена во мне! У меня даже нет последнего утешения: отнести эти события к душевной болезни. Когда сумасшедшие бредят и видят то, чего нет, они видят это в том мире, к которому они не принадлежат. Мои же видения всегда оказывались точными. Но вернемся к моему печальному рассказу...

Едва я увидел, как моя несчастная племянница попала в свой новый еврейский дом, я почувствовал толчок примерно такого же рода, как и тот, что отправил меня «вплавь сквозь недра земли». Я открыл глаза уже в своей комнате, и первое, на чем остановился мой взгляд, были часы. Стрелки на циферблате показывали семь с половиной минут шестого! Таким образом, я испытал все, что можно рассказать только за несколько часов, всего-навсего за полминуты.

Но это я понял позже. На какое-то мгновение я позабыл только что увиденное. Промежуток времени между взглядом на часы и тем движением, которым я взял зеркало из рук ямабуши, казалось, слилось в одно мгновение. Я уже собрался открыть рот и поторопить ямабуши, когда память полностью восстановилась в моем мозгу, вспыхнув, как разряд молнии. Издав вопль ужаса и отчаяния, я вдруг почувствовал себя так, словно весь мир обрушился на меня и вот-вот раздавит. Какое-то мгновение я не мог произнести ни слова, представляя собой картину человека, раздавленного и живущего в мире смерти и опустошения. Мое сердце сжалось от боли, моя судьба свершилась, и безнадежная тоска, казалось, простиралась передо мной до самого конца моей жизни.

V Возвращение сомнений

Затем последовала реакция на страдание, такая же отчаянная, как и сама печаль. Сомнение возникло в моем мозгу, яростное желание опровергнуть истинность только что увиденного. Меня охватило упрямое желание считать все это пустым бессмысленным сном, результатом нервного перенапряжения. Да, это было всего лишь лживое видение, глупый обман чувств, которые вызвали в моем воображении картины смерти и несчастий после долгих недель неопределенности и нервной депрессии.

— Как я мог увидеть человека за какие-то полминуты? — воскликнул я. — Чтобы все объяснить вполне достаточно теории сновидений и того, что она говорит о скорости, с которой происходят материальные изменения в нашем мозгу, точнее, о той скорости, с которой возбуждаются его полушария, поскольку наши мысли зависят от этих изменений. Только во сне временные и пространственные отношения могут так легко устанавливаться и уничтожаться. Ямабуши тут совершенно ни при чем. Что же касается моего крайне неприятного кошмара, то монах просто пожинает то, что было посеяно мною. Он воспользовался каким-то адским средством, известным его племени, и ухитрился сделать так, что я на несколько секунд потерял сознание и увидел сон, такой лживый и отвратительный. Прочь все мысли о том, что я увидел. Я им не верю. Через несколько дней в Европу отправится пароход... Я отправлюсь туда завтра же!

Я произнес этот отрывистый монолог вслух, не обращая внимания на моего уважаемого друга бонзу Тамоору и ямабуши. Последний стоял передо мной в той же позе, в какой он подал мне в руки зеркало, и продолжал спокойно смотреть как бы сквозь меня. Молчание его было исполнено достоинства. Доброе лицо бонзы излучало сочувствие, когда он подошел ко мне, словно к больному ребенку, и ласково положив свою руку на мою, сказал мне со слезами на глазах: «Друг мой, вы не должны оставлять этот город до тех пор, пока полностью не очиститесь от контакта с низшими Дайдж-Джинами (духами), которых пришлось использовать для того, чтобы провести вашу неопытную душу в места, которые вы хотели увидеть. Итак, вход в ваше внутреннее существо должен быть закрыт, чтобы не было опасности их вторичного вторжения. Не теряйте же время и позвольте святому мастеру, стоящему перед вами, очистить вас немедленно».

В гнев всякий становится абсолютно глухим. «Сок разума» больше не мог погасить

«пламя страсти». Я был не в состоянии прислушиваться к дружеским советам. Я не могу не вспоминать его лица с искренней любовью и, когда произношу его имя, у меня от волнения прерывается дыхание. Но в тот памятный час я чувствовал почти ненависть к этому доброму старику. Я не мог простить ему вмешательство в мои тогдашние дела, поэтому я ответил ему жестоким упреком. Я с гневом заявил, что не могу относиться к своему видению иначе, как к пустому, ничего не значащему, и считаю ямабуши ничем не лучше любого мошенника.— Я поеду завтра, даже если это будет стоить мне всего состояния, сказал я, поблуднев от ярости и отчаяния.

— Вы будете сожалеть об этом всю свою жизнь, если уедете отсюда до того, как этот святой человек закроет входы в вашу душу, через которые могли бы проникнуть духи, следящие за людьми и готовые войти в открытые двери,— ответил он мне.— Дайдж-Джины овладеют вами.

Я оборвал его жестоким смешком и еще более грубо спросил его о гонораре, которого ожидал от меня ямабуши за проведенный эксперимент.

— Он не ожидает наград,— последовал ответ.— Орден, к которому он принадлежит, самый богатый. Его члены ни в чем не нуждаются, так как они стоят выше всех земных и корыстных страстей. Не оскорбляй же доброго человека, который пришел из простого сочувствия к твоему страданию и постарался избавить тебя от душевной боли.

Но я не стал прислушиваться к словам разума и мудрости. Дух мятежа и гордыни овладел мною и заставил отбросить всякое чувство дружбы и даже элементарного приличия. К счастью, когда я повернулся, чтобы выпроводить из своего дома лживого монаха, я обнаружил, что он уже ушел.

Я не видел, как он ушел, и отнес его тайный уход к страху разоблачения.

Каким же я был дураком, каким слепым самодовольным идиотом! Почему же я не смог признать силу ямабуши и увидеть, что покой всей моей жизни уходит вместе с ним? Но я действительно сделал эту ошибку, и даже подлый демон моего долгого страха за родных, демон неопределенности, теперь был побежден чувством свирепого скептицизма, самым глупым из всех чувств. Глухое болезненное неверие, упрямое нежелание верить в свидетельства моих собственных чувств и решительное желание считать мое видение всего лишь игрой утомленного воображения прочно овладели мной.

— Мой ум,— продолжал я спорить.— Что это? Должен ли я поверить вместе с другими суеверными и слабыми людьми, что этот продукт фосфора и серого вещества мозга действительно наивысшая часть моего существа; должен ли я поверить, что он может видеть и действовать независимо от моих органов чувств? Никогда! Так же, как я никогда не смогу поверить в «мудрость» планет астрологии или в «Дайдж-Джина» моего доверчивого и доброго друга-жреца. Как я могу признаться в том, будто верю, что Юпитер, Солнце, Сатурн и Меркурий — это действующие силы? И эти достойные силы управляют каждая своей сферой, и эти сферы заботятся о судьбах смертных? Разве могу я всерьез считать, что какие-то воздушные бестелесные образования могли руководить моей «душой» во время этого неприятного сновидения? Да я с отвращением смеюсь при одной только глупой мысли об этом. Я считаю это оскорбительным для моего интеллекта и для силы человеческого разума говорить о невидимых существах, о субъективных знаниях и тому подобных сумасшедших суевериях. Короче говоря, я попросил своего друга бонзу избавить меня от ненужных споров и тем самым сохранить нашу дружбу.

Вот так я безумно и страстно спорил с почтенным японцем, стараясь изо всех сил заставить его поверить в то, что внезапно сошел с ума. Но его поразительное терпение оказалось более, чем равным моей глупой страсти. И он еще раз стал умолять меня ради будущего позволить провести над собой определенные и необходимые очистительные обряды.

— Никогда! Лучше жить в воздухе, разряженном почти до пустоты воздушным насосом здорового неверия, чем оставаться в тумане глупых суеверий,— возразил я ему, перефразируя слова Рихтера.— Я никогда не поверю, повторил я,— в этот сон, но поскольку я больше не

могу выносить неопределенность в судьбе моей сестры и ее семьи, я вернусь в Европу первым же пароходом.

Это решение совсем расстроило моего старого знакомого. Его серьезнейшие мольбы не уезжать до тех пор, пока я снова не увижусь с ямабуши, остались без всякого внимания с моей стороны.

– Друг мой из чужой страны! – вскричал он, – я молю Бога о том, чтобы вам не пришлось раскаяться в своей поспешности и в своем неверии. Пусть же священное существо Кван-Он, богиня милосердия, защитит вас от Джинов, так как если вы отказываетесь от обряда очищения в руках святого ямабуши, он будет бессилен защитить вас от злых влияний, пробужденных вашим неверием и вызовом, брошенным вами истине. Но позвольте мне в час прощания просить, умолять вас выслушать старика, который желает вам добра и хочет предупредить об опасности, убедить вас в существовании вещей, о которых вы до сих пор ничего не знаете. Могу ли я говорить?

– Продолжайте и говорите все, что хотите сказать, – грубо согласился я. – Но позвольте предупредить вас в свою очередь, что ничего из того, что вы можете сказать сейчас, не сможет заставить меня поверить в ваши позорные суеверия, – добавил я с чувством жестокого удовольствия, которое доставило мне еще одно бессмысленное оскорбление.

Но этот прекрасный человек не обратил внимание на новые насмешки. Я никогда не забуду торжественной серьезности его прощальных слов и жалеющего, полного раскаяния выражения его лица, когда он понял, что все его просьбы бесполезны и его доброжелательное вмешательство только погубило меня.

– Прислушайтесь к моим словам, мой добрый господин, – начал он, – и узнайте, что если этот святой и почтенный человек, который открыл ваше «зрение души», чтобы избавить вас от переживаний, не завершит работу, ваша будущая жизнь вряд ли будет достойна называться жизнью. Ему нужно защитить вас от невольных видений такого же рода. Если вы не согласитесь на это по собственной воле, то останетесь во власти сил, которые будут держать и преследовать вас, доводя до безумия. Знайте, что «развитие дальнего видения» (ясновидение) доступно по собственной воле лишь тому, от кого у Матери Милосердия, великой Квон-Он нет тайн. Начинающие должны обращаться за помощью к воздушным силам (первоначальным духам), которые по природе своей бездушны и поэтому злобны. Знайте также, что Арихат (поражающий врага) подчинил эти существа себе, превратив их в своих слуг, и ему нечего бояться. Те же, кто над ними невластны, становятся их рабами. Нет, не смейтесь в своей великой гордыне и невежестве, но слушайте дальше. Во время видения и в то время, когда внутренние органы чувств видящего направлены на восприятие событий, которые его интересуют, Дайдж-Джин полностью овладевает им, если он, как и вы, неопытен, и в это время видящий перестает быть самим собой. Пока человек находится в этом состоянии, Дайдж-Джин, который направляет его внутренний взор, надолго делает его душу низкой и подлой, превращая его на этот промежуток времени в существо подобное ему самому. Лишаясь божественного света, человек становится бездушным. Пока он связан с Дайдж-Джином, он не будет знать человеческих чувств – ни жалости, ни страха, ни любви, ни милосердия.

– Подожди! – невольно воскликнул я, так как его слова ясно вы– звали в моей памяти то равнодушие, с которым я смотрел на отчаяние сестры и внезапную потерю разума, которую она пережила во время моей галлюцинации. – Подождите... Ну нет, это было бы еще большим безумием для меня прислушиваться или искать какой-то смысл в вашей смехотворной истории! Но если вы знали, что это будет так опасно, почему вы посоветовали мне провести этот опыт? – добавил я насмешливо.

– Опыт должен был продолжаться всего несколько секунд и не причинил бы вам никакого зла, если бы вы сдержали свое обещание и позволили провести обряд очищения, – последовал печальный и скромный ответ. – Я желал вам добра, друг мой, сердце мое разрывалось при виде ваших страданий, которые усиливались с каждым днем. Этот опыт безвреден, если его проводит тот, кто знает, и становится опасным, когда последней

предосторожностью пренебрегают. Тот самый Владыка Видений, который открыл вход вашей души, должен сам закрыть его, воспользовавшись особой печатью очищения, которая защищает от дальнейших, уже намеренных вторжений...

– Владыка Видений, вы только послушайте, – вскричал я, грубо обрывая его, – сказал бы лучше Владыка Обмана!

Его доброе старое лицо стало таким печальным, в нем была такая боль, что я понял, что зашел слишком далеко, но было поздно.

– В таком случае, прощайте! – сказал старый бонза, поднимаясь. И, совершив обычный церемониал вежливого прощания, Тамоора вышел из моего дома в молчании, исполненном достоинства.

VI Я уезжаю, но не один

Несколько дней спустя я отплыл из Японии. Все это время я не видел моего почтенного друга бонзу. Очевидно, в тот последний, навеки памятный для меня вечер он был действительно серьезно обижен моим более чем непочтительным обхождением и оскорбительными замечаниями о человеке, которого он почитал. Мне было жаль его, но колесо страсти и гордыни непрерывно вращалось во мне и не позволяло хотя бы на мгновение почувствовать раскаяние. Что же это было, что заставляло меня так наслаждаться своим гневом? Как только я на какое-то мгновение забывал о предполагаемой обиде, которую нанес мне ямабуши, я тут же словно плеткой подхлестывал свой искусственный гнев. Ведь он совершил только то, что от него ожидали и то, на что я молчаливо согласился; более того, я сам лишил его возможности сделать для меня больше ради моей же собственной безопасности. Если бы я только поверил бонзе, человеку, которого считал совершенно честным и надежным. Может быть, это было сожаление о том, что моя гордость вынудила меня отказаться от предложенных предосторожностей, или страх раскаяния, который заставлял меня выкапывать и собирать в кучу в те долгие часы малейшие подробности предполагаемых оскорблений, которые были нанесены моей самоубийственной гордыне? Раскаяние, как правильно отметил один старый поэт, похоже на сердце, в котором они рождаются:

...когда в душе печаль и гордость,
Оно, как и анчар стрелой пронзенный,
Лишь кровью плачет.

Возможно, страх перед чем-то подобным стал причиной моего упрямства и, бросая мне вызов, позволил простить себе ничем не спровоцированные оскорбления, которыми я осыпал моего доброго и всепрощающего друга-жреца. Однако было уже поздно, и вернуть свои слова я уже не мог, поэтому мне пришлось удовлетвориться лишь тем, что я пообещал себе послать ему дружеское письмо, как только доберусь до дома. Глупцом, слепым глупцом, вдохновленным собственным наглым самодовольством, вот кем я был! Я был настолько уверен, что мое видение – результат какого-то трюка ямабуши, что уже злорадно предвкушал, с каким торжеством я напишу бонзе о том, что вполне справедливо отвечал на его печальные слова прощания улыбкой неверия, так как и моя сестра, и ее семья были здоровы и счастливы!

Я не провел в море и недели, как у меня появился повод вспомнить предупреждения жреца!

С того самого дня, когда я взглянул в волшебное зеркало, я обнаружил, что состояние моего организма резко изменилось, но поначалу я отнес все это на счет душевной депрессии, с которой я боролся в течение нескольких месяцев. Днем я часто обнаруживал, что вдруг теряю ощущение окружающих вещей и людей, как бы исчезаю. Мои ночи стали беспокойны. Сны подавляли меня, иногда они были ужасны. Я всегда был хорошим мореплавателем и

морской болезни не испытывал, да и погода была хорошей, а океан был гладким, как пруд. Несмотря на все это, я часто чувствовал странное головокружение, знакомые лица пассажиров приобретали в такие мгновения самый невероятный вид. Так например, молодой немец, с которым я был знаком и раньше, вдруг превратился на моих глазах в своего собственного отца, которого мы вместе с ним похоронили на маленьком кладбище европейской колонии три года назад. Мы стояли на палубе, говорили о покойном и о каком-то деле, которое он провел, когда мне вдруг показалось, что голову Макса Грюна покрыла какая-то странная пленка. Довольно плотный сероватый туман окружил его голову, он постепенно сгущался и оседал на здоровой коже его лица, превращая его голову в упрямую голову старика, которого я сам похоронил под шестью футами земли. В другой раз, когда капитан рассказывал о воре-малайце, которого он помогал поймать и посадить в тюрьму, я увидел рядом с ним желтое лицо какого-то негодяя, которое соответствовало описанию вора. Я никому не говорил о таких галлюцинациях. Поскольку они появлялись все чаще и чаще, меня это сильно беспокоило, хотя я по-прежнему относил их к действию естественных причин, вроде тех, о которых я читал в книгах по медицине. Однажды ночью меня внезапно разбудил долгий и громкий вопль. Это был женский голос, жалобный и похожий на голос ребенка. В нем слышались ужас и бессильное отчаяние. Я вздрогнул и проснулся. Я увидел себя на суше в незнакомой комнате. Молодая девушка, почти ребенок, отчаянно боролась с сильным мужчиной средних лет, который неожиданно настиг ее в комнате, когда она спала. Я увидел, что за закрытой и запертой дверью стоит старая женщина, чье лицо, несмотря на злобное выражение, показалось мне знакомым. Я тут же вспомнил, кто это. Это было лицо той самой еврейки, которая взяла в свой дом племянницу во время видения в Киото. Она получила золото за участие в этом подлом преступлении и теперь выдерживала свою роль в этой сделке... Но кто же была жертва? О, невыразимый ужас! Несказанный ужас! Когда я вспомнил обо всем, вернувшись в нормальное состояние, я понял, что это была моя племянница, ребенок моей сестры.

Но так же, как и во время моего первого видения, я не чувствовал никакого отчаяния, никаких других чувств, которые заполняют сердце человека при виде несчастий тех, кого он любит. Меня возмутило только то, что сильный мужчина заставляет страдать слабого и беспомощного. Разумеется, я тут же бросился к ней на помощь и схватил это грубое и подлое животное за шею. Я вцепился в него, но мужчина не обращал на меня внимания и даже не чувствовал моих рук. Этот трус, видя, что девушка сопротивляется ему, поднял свою мощную руку с огромным кулаком и ударив по ее светлым кудрям словно тяжелым молотом, оглушил ее. Тогда, издав громкий вопль возмущения, который мог бы издать незнакомец при виде несчастья ребенка, а не вопль тигрицы, защищающей своего детеныша, я набросился на похотливого зверя и попытался удушить его. Только тогда я заметил, что сам я – призрак и борюсь тоже с призраком...

Мои громкие крики и проклятия разбудили весь пароход. Все решили, что у меня был кошмар. Я не пытался довериться кому-либо, но с того самого дня моя жизнь превратилась в длинную цепь душевных мук. Стоило мне только закрыть глаза, и я снова становился свидетелем какого-нибудь ужасного события, какого-нибудь несчастья, смерти или преступления, которые происходили в прошлом, настоящем и даже будущем, в чем я позже убедился сам. Казалось, будто какой-то насмешливый злобный дух решил заставить меня увидеть все звериное, злобное и безнадежное, что существует в этом несчастном мире. Ни одного светлого видения красоты или добродетели не нарушало тяжелый мрак в тех картинах страха и страдания, которые я, казалось, был обречен видеть. Сцены подлости и убийства, предательства и страсти постоянно возникали перед моим внутренним взором, и мне приходилось лицом к лицу сталкиваться с самыми низкими и грязными последствиями страстей человеческих, самыми ужасными результатами земных материальных желаний.

Предвидел ли бонза все эти отвратительные последствия, когда говорил о Дайдж-Джинах, для которых я оставил вход, открытую дверь в себя? Чепуха! Во мне, наверное, произошло какое-то необычное физиологическое изменение. Как только я окажусь в

Нюрнберге и собственными глазами увижу, насколько лживы были мои страхи – я не смел думать о несчастье – все эти бессмысленные видения исчезнут так же быстро, как и появились. Одно то, что моя фантазия всегда представляет только картины несчастий, человеческих страстей в их худших материальных проявлениях, было для меня доказательством их нереальности.— Если, как вы говорите, человек состоит из одной субстанции, из вещества, которое является объектом физических ощущений, и если сами способы получения этих ощущений есть только результат организации мозга, тогда мы естественным путем будем привлечены лишь к материальному, земному...

Тут мои размышления прервал знакомый голос бонзы. Он повторил аргумент, которым часто пользовался в спорах со мной.

— У людей есть две плоскости видения,— снова слышал я его слова,— плоскость неумирающей любви и духовных устремлений, которые проистекают из вечного источника света, и плоскость беспокойного, вечно меняющегося вещества, в котором купается блуждающий ДайджДжин.

VII Вечность в коротком сновидении

В те дни я вряд ли мог допустить хотя бы на мгновение глупой веры в существование каких-либо духов, добрых или злых. Но тогда я понял, хотя, может быть, еще и не поверил, что это означает. Я по-прежнему надеялся, что мое состояние окажется результатом какого-то физического расстройства или нервных галлюцинаций. Чтобы подкрепить свое неверие, я постарался восстановить в памяти все аргументы, которые выдвигались против подобных суеверий. Я вспомнил острый сарказм Вольтера, спокойные рассуждения Юма и до тошноты повторял про себя слова Руссо о том, что «суеверие – это нарушитель общественного порядка и с ним нельзя не бороться всеми силами».— Каким образом видения или, скорее, фантазмагии,— приводил я доводы,— то, что в состоянии бодрствования мы находим лживым, вообще оказывают на нас воздействие? Почему

Слова, где смысла нет,
Пугают тем, чего на свете нет?

Однажды старый капитан рассказывал нам о различных суевериях, которые бытуют среди моряков, и надутый английский миссионер заметил, что еще Филдинг объявил: «суеверия делают человека глупцом», после чего он на мгновение замялся и вдруг замолчал. Я не принимал участия в разговоре, но не успел почтенный миссионер произнести цитату, как я заметил в небольшом слабом сиянии мерцающего света, который я видел теперь почти постоянно над головой каждого пассажира, продолжение его мысли:

А скептицизм делает его сумасшедшим.

Я слышал и много читал о тех, кто объявляет себя ясновидящими и о том, что они часто видят мысли людей нарисованными в ауре, которая их окружает. Что бы слово «аура» ни значило для других, теперь я на собственном опыте убедился в истинности этих претензий и почувствовал совершенное отвращение! Я – ясновидящий! В моей жизни появилась еще одна ужасная вещь, еще один глупый и смешной дар развился во мне, который придется скрывать ото всех, поскольку я стыдился его, словно проказы. В этот самый момент моя ненависть к ямабуши и даже к моему почтенному другу бонзе стала непреодолимой. Первый, видимо, выполнил надо мной какие-то манипуляции, пока я лежал без сознания и коснулся какой-то неизвестной физиологической пружины в моем мозгу. Она соскочила со своего места и теперь пробудила во мне способность, которая в обычном состоянии остается скрытой в человеческом организме, а мой друг сам привел в дом этого несчастного!

Но гнев и проклятия были бесполезны и вряд ли могли что-либо изменить. Кроме того, мы были уже в европейских водах и до Гамбурга оставалось всего несколько дней пути. Там все мои волнения и страхи улягутся, и я к своему большому облегчению узнаю, что хотя ясновидение, как чтение мыслей человека, может быть, и существует, но познание событий на расстоянии, как это случилось в моем сновидении, невозможно для человека. Тем не менее, вопреки доводам разума, сердце мое переполняли страхи и самые черные предчувствия. Я понимал, что скоро свершится моя судьба. Я очень страдал, и душевное утомление возрастало с каждым днем.

В ночь перед нашим прибытием у меня был очередной сон. Я вообразил, что умер. Мое холодное и неподвижное тело лежало в последнем сне. Умиравшее сознание, которое до сих пор считало себя моим «я», поняло, что произошло, и готовилось через несколько секунд прекратить свое существование. Я всегда верил, что мозг сохраняет тепло дольше остальных органов человеческого тела, что он последний прекращает функционировать, и мысль, таким образом, живет на несколько секунд дольше человеческого тела. Поэтому я несколько не был удивлен, увидев во сне, что мое тело уже перешло через ужасную реку и попало туда, «откуда ни один смертный еще не возвращался», а сознание все еще оставалось в каких-то серых сумерках, первых тенях Великой Тайны. Таким образом, моя МЫСЛЬ все еще покоившаяся в моих останках, которые быстро теряли крупницы жизни, с сильным и горячим любопытством ожидала своего распада, то есть своего уничтожения. «Я» спешил испытать свои последние ощущения, пока темный плащ вечного забвения не накрыл меня, пока у меня бы- ло время чувствовать и наслаждаться тем великим высшим торжеством, которое давало мне знание того, что мои убеждения, которым я оставался верен всю мою жизнь, были истинными, и что смерть – это полное и абсолютное прекращение сознательного существования. Вокруг меня с каждым мгновением становилось все темнее и темнее. Огромные серые тени проходили перед глазами. Сначала медленно, потом, убыстряясь, они замелькали вокруг меня с головокружительной скоростью. Целью движения, казалось, было всего лишь достижение темноты, и как только цель была достигнута, движение замедлилось. Темнота превратилась в глубокую черноту, движение полностью прекратилось. Мои чувства не воспринимали ничего, кроме этого бездонного черного пространства, темного, как смола. Оно казалось мне таким же безграничным и молчаливым, как безбрежный Океан Вечности, по которому Время, это порождение человеческого мозга, скользит, но никак не может его пересечь.

Катон определил сон как «образ наших надежд и страхов». В состоянии бодрствования я никогда не боялся смерти и теперь во сне я спокойно и равнодушно отнесся к мысли о своем скором конце. По правде говоря, эта мысль даже принесла мне облегчение, наверное, ее вызвали пережитые мною недавно страдания. Конец всего, всех сомнений, страхов о судьбе тех, кого я любил, мысли об их страданиях, конец всем беспокойствам был близок. Постоянная боль, которая непрерывно терзала мое сердце в течение долгих и утомительных месяцев, сейчас становилась невыносимой. И если, как считает Сенека, смерть – это всего лишь «прекращение того, чем мы были перед этим», то было бы лучше, если бы я умер. Мое тело мертво. Его сознание – это все, что от него остается. Еще несколько мгновений, и я последую за ним. Восприятие моего сознания станет все слабее, все расплывчатее и туманнее, пока желанное забвение не накроет меня полностью своим холодным саваном. Нежна волшебная рука смерти – этого великого утешителя мира. Глубок сон в ее неподатливых руках, его никогда не беспокоят сновидения. Да, действительно, смерть – желанный гость... Это спокойное, мирное убежище среди ревущих валов океана жизни, чьи крутые волны тщетно разбиваются о скалистые берега смерти. Счастлив тот одинокий барк, который входит в спокойные воды ее черного залива после долгого и жестокого шторма, после сердитых ударов внешней, чувствующей жизни. Теперь, на вечной якорной стоянке, ему больше не понадобятся ни паруса, ни руль. И мой барк наконец-то обретет покой. Так добро пожаловать, о Смерть, пусть даже за такую соблазнительную цену. Прощай, мое бедное тело. Хотя я и ни пытался ни ублажать тебя, ни доставлять тебе наслаждения, и

теперь с готовностью отдаю!..

С этим гимном, посвященным смерти, который я спел над распростертым телом, я наклонился над своими останками и с любопытством их рассмотрел. Я чувствовал, что окружающая темнота почти ощутимо давит меня, и я вообразил, что чувствую в ее прикосновении приближение желанного Освободителя. И все же как странно! Если реальная, окончательная смерть происходит в нашем сознании, если после телесной смерти «я» и мое сознательное восприятие соединяются воедино, почему же мое восприятие не слабеет, почему функции моего мозга кажутся столь активными, как и всегда... Ведь я, по существу, умер?.. И теперь обычное чувство беспокойства не уменьшится, не слабеет, нет, даже более того, оно кажется сильнее!.. Как долго приходится ждать прихода полного забвения!.. А, вот оно, мое тело!.. На одну или две секунды оно исчезло из моего поля зрения, а потом снова появилось... Какое оно белое и отвратительное! И все же... его мозг еще не совсем мертв, если «я», его сознание, еще действует, поскольку мы оба до сих пор воображаем, что существуем, что живем и думаем, отделенные от своего создателя и его мыслящих клеток.

Вдруг я почувствовал сильное желание узнать, как долго может продолжаться процесс распада мозга, когда, наконец, последняя печать смерти ляжет на мозг и прекратит его деятельность. Я осмотрел свой мозг в черепной коробке через прозрачные для меня стенки черепа и даже прикоснулся к мозговому веществу. Как я это сделал? Собственными ли руками или нет, я не могу сказать. В этом сновидении на меня очень сильное впечатление произвело ощущение скользкого, чрезвычайно холодного вещества. К моему великому ужасу я обнаружил, что кровь полностью свернулась, и мозговые ткани настолько изменились, что в них вряд ли возможны какие-либо взаимодействия молекул, и теперь я уже не мог объяснить происходящее деятельностью мозга. И вот «я», или мое сознание, что одно и то же, обнаружил себя самого совершенно независимым, отдельным от своего мозга, который больше не мог действовать... но у меня уже не было времени на размышления. В моих ощущениях произошло новое необычайное изменение, которое теперь поглотило все мое внимание... Что бы это значило?..

Вокруг меня простиралось прежнее черное непроницаемое пространство, но теперь прямо передо мной, все время прямо передо мной, куда бы я не поворачивался, оставались гигантские круглые часы, огромный диск которых зловеще сиял на черном эбоните непроницаемого пространства. Когда я посмотрел на этот огромный циферблат и на медленно качающийся взад и вперед маятник, каждое движение которого, казалось, делило вечность на отдельные куски, я увидел тонкие иглы стрелок, которые показывали семь минут шестого. – «Это время начала моей пытки в Киото!» – едва успел я подумать о совпадении, как вдруг, к моему невообразимому ужасу, я почувствовал, что снова начинается тот же самый процесс, который мне пришлось испытать в тот памятный и страшный день. Я плыл под землей, быстро пронзая ее черную массу, я снова увидел себя в могиле бедняка и узнал своего зятя в изуродованных останках. Я снова стал свидетелем его смерти, вошел в дом моей сестры, проследил за ее страданиями и увидел, как она сошла с ума. Я снова испытал все это и увидел все до мельчайших деталей, но увы! Мои чувства больше не сковывало спокойное равнодушие, то самое равнодушие, которое в момент первого моего видения оставило меня бесчувственным свидетелем величайшего несчастья, как будто я был каменной статуей, у которой нет сердца. Теперь мои душевные муки стали неописуемы и почти невыносимы. Даже то привычное отчаяние и непрекращающееся беспокойство, которое я постоянно испытывал во время бодрствования, теперь в моем сновидении, когда передо мною снова и снова возникали увиденные события, показались мне легким облачком по сравнению со страшными свинцовыми тучами циклона. О, как я страдал среди этого роскошного пирса адских мучений. Но теперь я уже не мог опереться на веру в то, что сознание человека умирает вместе с его телом, поскольку в этом видении я убедился в обратном. И это усилило страдания.

Я испытал относительное облегчение, снова оказавшись после последней сцены видения перед огромными белыми часами. Но это продолжалось недолго, длинная

заостренная стрелка на колоссальном циферблате показывала семь с половиной минут шестого. Не успел я как следует осознать произошедшее, как стрелка медленно двинулась назад и точно остановилась на седьмой минуте и... О, моя проклятая судьба!.. Снова повторилась цепь мучительных видений! Я снова плыл под землей и видел, слышал и испытывал все мучения ада! Я прошел сквозь всю душевную боль, которая только может быть известна человеку или дьяволу. Я снова вернулся к тому же самому месту перед циферблатом, после, казалось, вечных страданий, но стрелки на нем за это время как и прежде продвинулись только на полминуты. Я смотрел с ужасом, как они опять двинулись назад и меня снова бросило в пространство, это продолжалось снова и снова, раз за разом так, что стало казаться мне непрерывной чередой ужасных страданий, у которых не было начала и не предвиделось конца...

Но хуже всего было то, что мое сознание, мое «я», очевидно, приобрело способность утраиваться, учетверяться, даже удесятиваться. Я жил, чувствовал и страдал одновременно в полдюжине разных мест, переживая различные события своей жизни, которые происходили в разное время и при самых различных обстоятельствах, хотя по-прежнему, главным оставался мой духовный опыт, полученный в Киото. Таким образом, как в знаменитой фуге «Дон Джованни» высокие душераздирающие ноты арии Эльвиры звучат намного выше всех остальных, но они не мешают развитию мелодии менуэта, песням соблазна и песням хора, так я снова и снова проходил через мои горести, испытывая чувства невыразимой боли. Ужаснейшие сцены разворачивались перед моими глазами. Их повторение несколько не притупляло боли и страданий, и даже в последних моментах и событиях, совершенно не связанных с первыми, эти чувства не становились слабее и я все переживал заново, ни одно из событий не заслоняло другое. Это было безумное страдание! Цепочки похожих на контрапункт душевных фантазмагорий были взяты из реальной жизни. И вот, так же, как и в видении в Киото, я в течение тех самых тридцати секунд осматривал изуродованные останки мужа сестры, с тем же равнодушием видел ужасное воздействие вести о смерти, и в то же время я испытывал адские муки при виде каждого события, как и тогда в Киото, когда сознание вернулось ко мне. Я слушал философские беседы бонзы, слышал каждое слово, которое он произносил и снова пытался злобно смеяться над ним. Я снова становился ребенком, потом юношей, я слышал сладостные голоса моей матери и сестры, которые упрекали меня, корили за проступки и учили долгу перед всеми людьми. Я снова спасал друга, который чуть было не утонул и смеялся над его старым отцом, когда он благодарил за то, что я спас душу его сына, которая была еще не готова предстать перед создателем.

— И вы говорите о двойном сознании! Вы, психофизиологи! — вскричал я в момент невыносимого душевного страдания, которое казалось одновременно и физическим, достигая такой силы, что могло бы убить дюжину живых людей, — вы говорите о физиологических и психологических экспериментах, вы, школяры, надутые и битком набитые гордыней и книжными знаниями! Сейчас я вам покажу вашу лживость... — И вот я снова читал труды великих профессоров и лекторов, разговаривал с ними, с теми людьми, которые привели меня к фатальному скептицизму. И хотя я оспаривал возможность отделения сознания от мозга, я плакал кровавыми слезами над предполагаемой судьбой моих племянников и племянниц. Но самое ужасное было то, что я знал, как может знать только освобожденное от тела сознание, что все то, что видел в Японии, и то, что я видел и слышал сейчас, было истинным в каждом мгновении и каждой подробности, что это была длинная цепочка отвратительных и ужасных, но все же реальных фактов.

Наверное в сотый раз мой взгляд был прикован к стрелкам часов. Я успел потерять счет циклам постоянного перемещения в пространстве и возвращения к циферблату, и очень скоро пришел к заключению, что они, эти возвращения, никогда не прекратятся, что сознание все-таки невозможно разрушить, и что эти циклы, их бесконечное повторение будут моим наказанием в Вечности. Я начинал понимать на собственном опыте, как должен себя чувствовать осужденный за грехи. — Разве вечное проклятие математически возможно в непрерывно развивающейся вселенной? — Я все еще находил силы спорить. Да, в самом деле,

в этот час все усиливающегося страдания мое сознание, синоним моего «я», все еще было в силах восставать против некоторых претензий теологии, отрицать ее утверждения, отрицать все, кроме самого СЕБЯ. Да, я больше не отрицал независимую природу моего сознания, поскольку убедился, что это так, но было ли оно вечно? О, непостижимая и страшная реальность! Если бы ты было вечным, кем бы ты было?! Тогда не было бы божества, не было Бога. Откуда ты пришло и когда появилось, если ты не было частью холодного тела, которое лежит теперь вот здесь, перед тобой, и куда ты привело меня, кто я теперь, и будут ли у нашей мысли и воображения конец? Каково твоё настоящее время? О, бездонная, неизмеримая РЕАЛЬНОСТЬ! Непостижимая ТАЙНА! О, я не могу уничтожить тебя... «Видения души». Что тут говорит о Душе, чей это голос? Он утверждает теперь, что я во всем могу убедиться сам: у человека есть душа. Нет, я отрицаю это. Моя душа, моя живая душа и дух жизни покинули мое тело с его серым веществом мозга. Еще никто не смог доказать, что это мое «я», это сознание вечно. Перевоплощение, о котором так беспокоился бонза, может, в конце концов, быть реальностью. А почему бы и нет? Разве цветок не появляется каждый год заново из того же корня? Так же и это «я», отделившись от мозга и потеряв равновесие, продлило все эти видения перевоплощением...

Я снова оказываюсь перед неумолимым фатальным циферблатом, и вот, глядя на медленное движение его стрелок, я слышу голос бонзы, который доходит до меня из глубины белого циферблата. Он говорит: «Боюсь, что в этом случае вам придется только открывать и закрывать дверь снова и снова, и как бы долго или коротко это ни продолжалось, вам это время покажется вечностью...».

Часы исчезли, темноту сменил свет, и голос моего старого друга утонул во множестве голосов, доносившихся с палубы. Я проснулся на своей койке в холодном поту. От страха у меня закружилась голова.

VIII Печальная повесть

Мы прибыли в Гамбург, и я, повидавшись со своими партнерами по фирме, которые с трудом узнали меня, получил их согласие и добрые пожелания и отправился в Нюрнберг.

Полчаса спустя по прибытии последние сомнения в том, что мое видение было правильным, исчезли. Реальность оказалась хуже любых предположений, и с того момента я был обречен на самую одинокую и жалкую жизнь. Я убедился в том, что видел ужасную трагедию во всех ее душераздирающих подробностях. Я действительно видел, как мой зять погиб в колесах механизма, моя сестра, теперь сумасшедшая, быстро увядала, приближаясь к своему последнему часу, моя племянница, прекрасный цветок природы, была опозорена и жила в обители греха, младшие дети умерли во время эпидемии в приюте, а мой единственный, оставшийся в живых племянник находился в море, и никто не знал, где он. Целый дом, большой дом, в котором царили мир и любовь, оказался развеянным по земле, и я остался один, единственный свидетель смерти, опустошения и позора. Эти вести переполнили мою душу отчаянием, силы оставили меня при виде такого страшного несчастья, катастрофы, которая предстала перед моими глазами. Удар оказался слишком сильным для моей подорванной нервной системы, и я потерял сознание. Последнее, что я услышал, были слова бургомистра: «Если бы вы сообщили городским властям о вашем местонахождении перед отъездом из Киото телеграммой и выразили намерение вернуться домой и взять на себя заботы о своих родственниках, мы бы поместили детей в другое место и, может быть, они были бы живы. Но никто не знал, что у детей остались состоятельные родственники. Они стали нищими, и с ними пришлось поступить соответствующим образом. Их практически никто не знал в Нюрнберге и при таком несчастном стечении обстоятельств трудно было ожидать чего-либо другого. Мне остается только выразить свои соболезнования».

Меня убивало сознание того, что я, во всяком случае, мог бы спасти свою любимую племянницу от ее незаслуженной судьбы, если бы послушался дружеского совета бонзы

Тамооры и послал телеграмму в Нюрнберг властям за несколько недель до своего возвращения. Кроме того, я уже больше не мог сомневаться в ясновидении и яснослышании, которые я так долго отрицал. Все это просто поставило меня на колени. Я мог избежать презрения своих ближних, то есть людей, но не мог избавиться от укоров совести, упреков собственного страдающего сердца, пока оставался жив! Я проклинал свой упрямый скептицизм, отрицание реальных фактов и такое раннее одностороннее образование. Я проклинал себя и весь мир... В течение нескольких дней мне удавалось держаться и не падать духом под страшной ношей, потому что у меня оставался долг перед умершими и перед живыми. Но когда мне удалось выволить сестру из приюта и поместить в больницу под наблюдение лучших врачей так, чтобы ее собственная дочь могла позаботиться о ней в ее последние минуты, когда я надежно упрятал еврейку в тюрьму, заставив признаться в совершенном преступлении, силы внезапно оставили меня. Спустя всего неделю после прибытия я стал почти безумным маньяком, совершенно беспомощным перед нервной лихорадкой, охватившей меня. Несколько недель я находился между жизнью и смертью, и опыт лучших врачей оказался бесполезным перед страшной болезнью. Наконец мой организм одержал верх, и к моей безмерной печали врачи объявили, что я буду жить.

Я выслушал их с болью в сердце. Теперь я был обречен вести тяжелое безнадежное существование, постоянно раскаиваясь в содеянном. У меня не было надежды найти утешение на земле, а поскольку я по-прежнему верил лишь в кратковременное существование сознания после смерти, это неожиданное возвращение к жизни только усилило мое озлобление. Мои чувства не смягчились, поскольку в первые же дни после выздоровления ко мне снова вернулись нежданные гости, те самые видения, правильность и реальность которых я уже больше не мог отрицать. Увы! Эти видения больше не были для моего скептического слепого сознания

Детьми досужего ума,
Пустой игрой воображенья...

Они были всегда верными фотографиями реальных бед и страданий моих близких, моих лучших друзей... Таким образом, оказалось, что я был обречен на беспомощность и муки прикованного Прометея, всякий раз, как только оставался один. В тихие ночные часы какая-то безжалостная железная рука вела меня к кровати моей сестры и заставляла наблюдать час за часом разрушение ее изможденного организма и принуждала быть свидетелем страданий, которых ее собственный мозг не создавал. Еще одно обстоятельство оставляло в моем сердце незаживающую рану, которая приносила мне адские мучения. Мне приходилось видеть при свете дня по-детски невинное лицо моей юной племянницы, такой нежной, простой и искренней в ее падении. И одновременно мне приходилось видеть как ночью, во сне, вместе с воспоминаниями о позоре к ней приходит сознание того, что ее молодая жизнь навеки разбита. Ее сны для меня становились объективной реальностью так же, как это случилось на пароходе. Мне приходилось переживать снова и снова, ночь за ночью все то же ужасное отчаяние, поскольку теперь, когда я поверил в реальную возможность видеть на расстоянии, я пришел к заключению о том, что в наших телах, как в теле гусеницы, спрятана какая-то куколка, которая может в свою очередь содержать в себе бабочку, символ нашей души, и теперь я уже не мог оставаться равнодушным к тому, чему я стал свидетелем. Во мне действительно развилось нечто такое, что разбило ледяной кокон. По-видимому, мое теперешнее видение уже происходило в результате совпадений моей внутренней природы с Дайдж-Джином. Мои видения появлялись как следствия прямых личных психических действий, а злобные существа заботились только о том, чтобы я не увидел ничего приятного или возвышенного. Таким образом, теперь каждый приступ неосознанной боли в изможденном теле моей сестры, каждое ужасное воспоминание из беспокойных снов моей племянницы о преступлении, совершенном по отношению к ней, невинному ребенку, находили чуткий отклик в моем кровотокающем сердце. Глубокий

источник сочувствия, любви и печали извергался из моего физического сердца, и теперь его шум отдавался громким эхом в пробужденной душе, отделившейся от тела. Мне приходилось пить чашу несчастий до самого дна. Я стал олицетворением горя. Мои ночи и дни превратились в пытку! О, как оплакивал я ошибку своей гордыни, как я был наказан за свое пренебрежение предложенным мне в Киото очищением, потому что теперь я поверил в действенность последнего. Дайдж-Джин действительно овладел мною. Злобный дух выпустил всех псов ада на свою жертву...

И вот настал ужасный конец. Бедная безумная мученица была опущена в темную и желанную могилу, оставив после себя своего первенца и юную дочь, которая скончалась от чахотки всего несколько месяцев спустя. Не прошло и года, как я остался совсем один в мире, поскольку мой единственный оставшийся в живых племянник выразил желание продолжить карьеру моряка.

А теперь до конца моей печальной истории осталось совсем немного. Я превратился в развалину, и преждевременно состарился, будто не тридцать, а шестьдесят зим пронеслось над моей головой. Непрекращающиеся видения постоянно держали меня на грани безумия. Вдруг у меня появилось отчаянное желание, превратившееся в решимость: я вернусь в Киото и найду этого ямабуши, паду к ногам этого святого человека и не оставлю его до тех пор, пока он не изгонит назад того Франкенштейна, которого он пробудил во мне, и с которым я в свое время не захотел расстаться, охваченный гордыней и неверием.

Три месяца спустя я снова очутился в своем доме в Японии и тут же отправился искать бонзу Тамоору Хидейери. Теперь я умолял его немедленно отправиться к ямабуши, к человеку, который стал безвинной причиной моих ежедневных пыток. Его ответ поставил последнюю печать на мою судьбу и удесятирил мое отчаяние – ямабуши оставил страну и отправился в неизвестные земли! Он ушел одним прекрасным утром в паломничество во внутренние земли Китая и, по обычаю, он будет отсутствовать минимум семь лет, если только смерть не сократит его путешествие!

В своем несчастье я обратился за помощью к другим ученым ямабуши и, хотя мой прекрасный старый друг знал, насколько бесполезно в моем случае искать действенной помощи у какого-нибудь другого «посвященного», он делал все возможное, чтобы помочь мне в моем горе. Но все было бесполезно, и проклятый червь, отравлявший мою жизнь, не мог быть извлечен полностью. Я узнал от них, что ни один из этих ученых мужей не может обещать полного избавления изпод власти демонов ясновидения. Только тот, кто вызвал Дайдж-Джина, чтобы тот показал ему будущее или прошлое, мог полностью контролировать поведение злого духа. С добрым сочувствием, которое я теперь научился ценить, святые люди пригласили меня присоединиться к группе их учеников и узнать вместе с ними, что я могу сделать. «Только воля, только вера в ваши собственные душевные силы могут помочь вам теперь», – сказали они, – «потребуется несколько лет для того, чтобы исправить хотя бы часть содеянного. ДайджДжина легко изгнать в самом начале, если же его оставить один на один с человеком, он овладевает всем его существом, и тогда уже невозможно избавиться от злого духа, не убив при этом его жертву».

Убедившись, что иного пути для меня не остается, я с благодарностью согласился остаться среди учеников и старался изо всех сил верить в то, во что верили эти святые люди, и все же в душе мне это никогда не удавалось. Демон неверия и отрицания, казалось, пустил в моей душе еще более крепкие корни, чем Дайдж-Джин. Но я делал все, что мог, решив не упускать последнего шанса на спасение. Поэтому я решил без всяких задержек освободиться от мирских и коммерческих обязанностей, чтобы несколько лет прожить независимой жизнью. Я уладил все расчеты со своими гамбургскими партнерами и порвал связи с фирмой. Несмотря на значительные финансовые потери, вызванные столь скорой ликвидацией дел, я обнаружил, подведя итог, что я гораздо богаче, чем думал. Но богатство больше не привлекало меня, так как теперь мне не с кем было его делить, и не для кого было работать. Жизнь стала обузой. Я с равнодушием относился к своему будущему и был настолько равнодушен ко всему, что когда передавал состояние племяннику, не оставил бы

себе даже маленькой суммы, если бы мой японский партнер не вмешался и не заставил меня сделать это. Теперь я, как и последователи Лао-цзы, признавал, что только знания дают человеку твердую и надежную опору, поскольку это единственное, что не может быть разрушено никаким ураганом. Богатство – слабое пристанище в дни печали, а самодовольство – самый опасный советчик. Поэтому я последовал совету своих друзей и отложил себе скромную сумму, обеспечивающую мне достаточный доход в течение всей моей жизни на тот случай, если я когда-нибудь оставлю своих новых друзей и учителей. Итак, уладив свои земные счета и распорядившись своим имуществом в Киото, я присоединился к «владыкам дальнего видения», которые взяли меня в свои таинственные жилища. Я оставался с ними в течение нескольких лет, изучая в одиночестве их науки и ни с кем не встречаясь, кроме нескольких членов их религиозной общины.

С тех пор мне удалось познать многие тайны природы, и множество тайных фолиантов из библиотеки Джион-Ене были с жадностью прочитаны мной. Я обрел власть над несколькими невидимыми существами низшего порядка. Но я не мог раскрыть секрет власти над Дайджджинами. Этим секретом владеет только ограниченное число самых высоких членов Лао-цзы, и большая часть ямабуши ничего не знает о том, как властвовать над этими опасными стихиями. Тот, кто сможет достичь такой власти над ними, должен будет полностью связать себя с ямабуши, стать членом этого ордена, принять их взгляды и верования и пройти высшую ступень инициации. Вполне естественно, что я не подходил в члены Братства. Тому было множество непреодолимых причин, одной из которых был мой неисправимый скептицизм. Таким образом, частично избавившись от своей беды и научившись изгонять непрошеные видения, я по-прежнему остался и остаюсь по сей день беспомощным перед их проявлениями время от времени.

Только удостоверившись в своей неспособности занять высокое положение независимовидящего члена ордена, я неохотно оставил дальнейшие попытки овладеть Дайджджином. О святом человеке, который невинно стал первопричиной моего несчастья, никто ничего не слышал, бонза, время от времени посещавший меня в моем убежище, не мог или не хотел сообщить мне местонахождение ямабуши. Поэтому, когда мне пришлось оставить надежду на полное освобождение от моего трагического дара, я решил вернуться в Европу и поселиться в одиночестве. С этой целью я приобрел с помощью моих бывших партнеров швейцарский домик, в котором родились моя несчастная сестра и я, и где я вырос. Именно этот дом я выбрал для своего будущего уединения.

Прощаясь со мной на борту парохода, который должен был отвезти меня на родину, добрый старый бонза пытался утешить меня. – Сын мой, – сказал он, – считайте, что все произошедшее с вами – ваша карма, справедливое возмездие. Ни один человек, который по собственной воле отдается во власть Дайджджину, не может даже надеяться стать архатом (адептом) или ямабуши высокой души, если над ним немедленно не будет произведена процедура очищения. В лучшем случае, как это было с вами, можно научиться только противостоять врагу и отражать его нападения. Как шрам, оставленный ядовитым оружием, лед Дайджджина не может сойти с души, пока она не очистится через перерождение. Поэтому не поддавайтесь отчаянию. Бодритесь, ваше горе привело вас к истинному знанию, заставило признать многие истины, которые вы в противном случае наверняка бы отвергли с презрением. И этого бесценного знания, приобретенного благодаря вашим собственным усилиям и страданиям, никакой Дайджджин не может вас лишить. Прощайте же, и пусть Мать Милосердия, великая царица неба даст вам покой и защиту.

Мы расстались, и с тех пор я веду жизнь отшельника – живу в полном одиночестве и постоянно занимаюсь исследованиями. Хотя попрежнему меня время от времени тревожат видения, я не сожалею о годах, проведенных под руководством ямабуши и искренне благодарен за знания, которые получил от них. И я всегда вспоминаю с искренней любовью и уважением жреца Тамоору Хидейери. Я регулярно переписывался с ним до самой его смерти и стал невольным свидетелем этого события и всех его тяжелых для меня подробностей в тот самый день и час, когда оно произошло за далекими морями – честь, за

которую я не мог благодарить свою судьбу.

Пещера долгого эха

Странная, но справедливая история¹

В одной из далеких губерний Российской империи, в маленьком городке на краю Сибири, более тридцати лет тому назад произошла таинственная трагедия. Примерно в шести верстах от маленького городка П., знаменитого красотой дикой природы и богатством своих жителей, которыми были преимущественно владельцы шахт и железодельных заводов, стояла дворянская усадьба. В ней жили ее владелец, богатый старый холостяк, и его брат-вдовец со своими двумя сыновьями и тремя дочерьми. Все знали, что господин Изверцов усыновил детей брата, а своего любимца, старшего племянника Николая, сделал единственным наследником всех своих многочисленных имений.

Время шло. Дядюшка старел, а племянник приближался к совершеннолетию. Дни и годы проходили в однообразном спокойствии, пока на до сих пор чистом горизонте семейной жизни не появилось маленькое облачко. К несчастью как-то раз одной из племянниц взбрело в голову научиться играть на цитре. Так как инструмент этот чисто тевтонского происхождения, а в округе учителей игры на нем не оказалось, добрый дядюшка решил выписать и инструмент, и учителя из Санкт-Петербурга. После долгих поисков удалось обнаружить только одного профессора музыки, который согласился отправиться в городок, расположенный так близко к Сибири. Это был старый немецмузыкант, который делил свою любовь поровну между инструментом и хорошенькой блондинкой-дочерью и ни за что не хотел расставаться ни с тем, ни с другой. Вот так и случилось, что одним прекрасным утром в усадьбе появился наш старый профессор. В одной руке он держал чехол с инструментом, другой поддерживал свою красавицу Мюнхен.

С того самого дня маленькое облачко стало быстро расти; каждый звук мелодичного инструмента пробуждал нежность в сердце старого холостяка. Говорят, что музыка – эхо любви, и работу, начатую цитрой, завершили голубые глаза Мюнхен. По истечении шести месяцев племянница превосходно играла на цитре, а дядюшка отчаянно влюбился.

Как-то утром он собрал вокруг себя приемных детей, нежно обнял каждого, пообещал никого не забыть в своем завещании и закончил тем, что объявил о своем твердом намерении жениться на голубоглазой Мюнхен. После этих слов он беззвучно зарыдал от счастья. Присутствующие тоже рыдали, но по другой причине. Они поняли, что их обманным путем лишили наследства. Порывав немного, они скоро утешились и попытались порадоваться вместе со стариком, которого искренне любили. Но радовались не все. Николай был поражен в самое сердце красотой Мюнхен. Он считал, что его лишили разом и возлюбленной, и денег. Поэтому он не мог ни утешаться, ни радоваться со всеми, а исчез куда-то на целый день.

Господин Изверцов распорядился приготовить на следующий день свою дорожную карету, и все шепотом передавали новость, будто он собирается поехать в уездный город, который находился довольно далеко, чтобы изменить завещание. Хотя он был очень богат, у него не было управляющего имениями. Он сам вел свои дела и содержал учетные книги. В тот же вечер после ужина слышали, как он гневно отчитывал в своих комнатах слугу, прослужившего ему более тридцати лет. Этот слуга, Иван, был уроженцем Северной Азии, а точнее, Камчатки. Он вырос в семье хозяина и был воспитан в христианских правилах. Считалось, что он был очень привязан к хозяину. Через несколько дней, когда первое из

¹ Эта история записана по рассказу ее непосредственного свидетеля, русского дворянина, очень набожного и совершенно надежного человека. Более того, некоторые факты, упоминающиеся в ней, были выписаны из документов полиции городка П. Свидетель происшествия приписывает все, что он видел, отчасти божественному вмешательству, отчасти козням дьявола. Примеч. автора.

трагических обстоятельств, о которых я собираюсь поведать, привело в усадьбу всю местную полицию, кто-то вспомнил, что в этот вечер Иван был пьян, а хозяин, с отвращением относившийся к этому злу, по-отечески выпорол его и выгнал из комнат. Когда Иван вылетел из дверей, кто-то слышал, как он бормотал под нос проклятья.

На огромной территории, принадлежавшей господину Изверцову, находилась прелюбопытнейшая пещера, которая пробуждала интерес у каждого, кому довелось посетить ее. Пещера эта существует по сей день, и каждый житель города П. хорошо знает ее. Сосновый лес, начинающийся в нескольких футах от ворот сада, карабкается по крутым склонам скалистых холмов. Грот, ведущий в пещеру, известную как Пещера Долгого Эха, расположен примерно в полумиле от усадьбы, и от дверей дома он кажется небольшой ямкой, выкопанной в склоне холма и почти скрытой густой растительностью. Тем не менее, он не полностью скрыт окружающим лесом, и с небольшой террасы у входа в дом можно увидеть каждого, кто входит в эту пещеру. Войдя в грот, исследователь обнаруживает в его задней стене узкую щель, пробравшись черед которую, он попадает в высокую пещеру, слабо освещенную через небольшие отверстия в куполообразной крыше, расположенные в пятидесяти футах от земли. Пещера эта огромна и может свободно вместить от двух до трех тысяч человек. Часть этой пещеры во времена господина Изверцова была выложена плоскими камнями и часто использовалась как большая зала и место для летних пикников. Представляя собой неправильный овал, пещера, постепенно сужаясь, образовывала широкий коридор, который на несколько миль уходил вглубь земли, то там, то сям открывая проходы в другие пещеры, такие же широкие и высокие, как бальная зала, но в отличие от нее, пройти по этим пещерам можно было только на лодке, так как они наполнены водой. Эти естественные резервуары считаются бездонными. На краю первой из этих пещер имеется небольшая площадка с несколькими старыми замшелыми скамейками, и именно с этого места можно услышать феноменальное эхо, давшее имя пещере, во всей его сверхъестественной мощи. Сначала эхо подхватывает слово шепотом или как бы вздохом, потом это слово подхватывается бесчисленным количеством насмешливых голосов, которые не ослабевают, как всякое порядочное эхо, а усиливаются, становясь все громче и громче с каждым повтором, до тех пор, пока слово не взрывается со страшным грохотом пистолетного выстрела и не исчезает, с жалобным воплем уносясь по коридору.

В тот самый день, о котором идет речь, господин Изверцов упоминал о своем намерении устроить танцы в пещере в день своей свадьбы, которая должна была состояться очень скоро. На следующее утро, перед тем, как отправиться в путь, он, по свидетельству семьи, пошел в грот со своим сибиряком-слугой. Полчаса спустя Иван вернулся в усадьбу за табакеркой, которую его хозяин забыл у себя в спальне. Взяв табакерку, слуга отправился в пещеру. А через час весь дом был взбудоражен его криком. Бледный и мокрый Иван носился по дому как сумасшедший и кричал, что господина Изверцова в пещере нет, что он куда-то пропал. Решив, что хозяин упал в озеро, он нырнул в первой пещере, пытаясь найти его, и сам чуть было не утонул.

День прошел в тщетных поисках пропавшего. Полиция заполонила весь дом, и громче всех выражал свое отчаяние племянник Николай, который вернулся домой уже после того, как стало известно о таинственном исчезновении.

Тень подозрения упала на Ивана. Предыдущим вечером хозяин ударил его, и он, как было известно, поклялся отомстить. Он сопровождал хозяина в пещеру, а во время обыска в его комнате под матрацем нашли шкатулку с фамильными драгоценностями, которая обычно хранилась в спальне господина Изверцова. Крепостной тщетно призывал Господа в свидетели, утверждая, что хозяин сам доверил ему шкатулку перед тем, как они пошли в пещеру, что хозяин собирался сменить оправу драгоценностей и сделать свадебный подарок невесте. Слуга клялся, что он охотно отдал бы свою жизнь за жизнь хозяина. Однако на его слова никто не обращал внимание, его арестовали и бросили в тюрьму, обвинив в убийстве. Там он и остался, поскольку по русскому закону преступник не может – или по крайней мере в те дни не мог – быть приговорен к наказанию, пока сам не сознается в совершенном,

независимо от того, насколько убедительны доказательства его вины.

После недели бесплодных поисков семья погрузилась в глубокий траур, и поскольку старое завещание осталось без изменений, вся собственность перешла в руки племянника. Учитель музыки с дочерью перенесли такой крутой поворот с чисто германской флегматичностью. Старик уже собрался уезжать, засунув под мышку цитру и взяв Мюнхен за руку, когда племянник остановил их и предложил себя в мужья красивой девушке вместо своего покойного дяди. Он получил согласие на такую замену и без лишнего шума молодые люди поженились.

Прошло десять лет, и вот мы снова видим наше счастливое семейство в начале 1859 года. Красавица Мюнхен потолстела и подурнела. Со дня исчезновения старого дядюшки Николай стал угрюмым и скрытным. Многих удивила такая перемена в его характере. Теперь он никогда не улыбался, казалось, что единственной целью его жизни стало найти убийцу дядюшки или, по крайней мере заставить Ивана признаться в совершенном. Но последний по-прежнему настаивал на своей невинности.

У молодой пары родился сын. И это был странный ребенок. Он был мал ростом, очень нежен и худ, часто болел и, казалось, будто его хрупкая жизнь висит на волоске. Когда лицо его было спокойно, он так походил на своего дядюшку, что члены семьи часто в ужасе отворачивались от него. На плечах маленького мальчика девяти лет отроду была голова с бледным, сморщенным лицом шестидесятилетнего старика. Никто не видел его смеющимся или играющим, но он очень часто сидел в высоком кресле, выпрямившись, с серьезным выражением на лице и сложив руки, точно также, как это делал покойный господин Изверцов. В этой позе он мог часами сидеть в полудреме и неподвижности. Няни крестились тайком, когда подходили к его постели ночью, и никто из них не соглашался остаться с ним один на один в детской. Отношение к нему его отца было еще более странным. Казалось, он страстно любил сына и в то же время яростно ненавидел его. Он редко обнимал или ласкал ребенка, но очень часто, побледнев, мог часами смотреть, как сын тихо сидит в своем углу в позе старика.

Ребенок никогда не покидал усадьбы и лишь немногие в округе знали о его существовании.

Примерно в середине июля в город П. приехал с Севера высокий, стройный венгр-путешественник. Говорили, что на Севере он прожил несколько лет. Слухи о его эксцентричности, богатстве и о таинственных силах, которыми он владел, далеко опережали его. Путешественник поселился в маленьком городке в сопровождении шамана или южно-сибирского колдуна, на котором он, как говорили, проводил месмерические опыты. Он давал обеды и устраивал вечера, где всегда развлекал гостей своим шаманом, которым очень гордился. Однажды знаменитости городка П. совершили неожиданный набег во владения Николая Изверцова и попросили у него разрешения устроить в пещере вечер. Николай согласился с большой неохотой и только после долгих уговоров пообещал присоединиться к своим гостям.

Первая пещера и площадка перед озером сверкали в свете сотен мерцающих свечей и пылающих факелов, торчавших из трещин в скалах. Все вокруг было ярко освещено, и тени не могли укрыться даже в укромных, покрытых мхом уголках, в которые годами не проникали солнечные лучи. Сталактиты у стен ярко искрились, и спящее эхо то и дело пробуждалось, подхватывая веселую смесь смеха и разговора. Шаман, как обычно, находился в трансе под неусыпным наблюдением своего друга и покровителя. Он сидел на корточках на выступающей части скалы, расположенной примерно посередине между входом в пещеру и озером. Его лимонно-желтое морщинистое лицо, плоский нос и редкая бородка делали его больше похожим на уродливый каменный идол, чем на человека. Многие из присутствующих толпились вокруг него и получали точные ответы на свои вопросы, когда венгр весело устраивал своему загипнотизированному «субъекту» перекрестный допрос.

Неожиданно одна из дам заметила, что именно в этой пещере десять лет назад совершенно непонятным образом исчез старый господин Изверцов. Иностранца это,

казалось, заинтересовало и он пожелал услышать подробности об обстоятельствах происшествия. В толпе нашли Николая и подвели его к внимательно слушавшим гостям. Он был хозяином и не считал возможным отказать им. Дрожащим голосом, побледнев, он рассказал печальную историю своего дядюшки. В глазах его блеснули слезы. Все присутствующие были очень тронуты рассказом и стали шепотом обмениваться похвалами в адрес любящего племянника, который так чтит память своего дядюшки и благодетеля. Вдруг голос Николая оборвался, словно он внезапно стал задыхаться – ся, глаза полезли из орбит и он со сдавленным стоном отшатнулся назад. Глаза всех присутствующих с любопытством проследили за его наполненным ужасом взглядом и увидели, что он, не отрываясь, смотрит на маленькое увядшее личико, выглядывающее из-за спины венгра.

– Откуда ты взялся? Кто привел тебя сюда, дитя? – выдохнул Николай, бледный, как сама смерть.

– Я был в постели, папа, этот человек пришел ко мне и принес меня сюда на руках, – просто ответил мальчик, показывая на шамана, который сидел рядом с ним на скале и, не открывая глаз, продолжал качаться взад и вперед, как живой маятник.

– Очень странно, – заметил один из гостей, – этот человек не покидал своего места.

– О, Господи! Какое невероятное сходство! – пробормотал старый житель городка, который знал покойного.

– Ты лжешь, дитя! – яростно вскричал отец. – Иди спать. Здесь тебе не место.

– Подождите, подождите, – вмешался венгр, обнимая худенькие плечи мальчика. Его лицо приняло странное выражение. – Малыш видел двойника моего шамана, который часто покидает его тело и отправляется погулять. Он принял призрака за человека. Пусть он останется с нами на некоторое время.

Услышав эти странные слова, гости переглянулись в немом удивлении, и некоторые из них набожно перекрестились и сплюнули через левое плечо, наверно надеясь попасть на дьявола или на его козни.

– А кстати, – проронил венгр со странно твердой интонацией, обращаясь скорее ко всем присутствующим, чем к кому-либо в отдельности, – почему бы нам не попробовать с помощью моего шамана раскрыть тайну трагедии? Подозреваемый до сих пор находится в тюрьме? Что? Он до сих пор не признался? Это очень странно, поверьте мне. Но сейчас мы узнаем правду. Прошу тишины!

Затем он приблизился к Техукчене и начал сеанс, даже не спросив согласия хозяина пещеры. Последний как будто прирос к земле, окаменев от ужаса и потеряв дар речи. Предложение венгра встретило одобрение всех присутствующих, кроме хозяина, а глава местной полиции, полковник С. больше всех хотел бы узнать результат сеанса.

– Дамы и господа, – мягким голосом сказал гипнотизер. – Позвольте мне на этот раз начать сеанс несколько иначе, не так, как я это делаю обычно. Я воспользуюсь восточной магией. Она больше подходит к этому дикому месту и к тому же, как вы сами убедитесь, она гораздо эффективней нашего европейского гипноза.

Не дожидаясь ответа, он вытащил из чемоданчика, с которым никогда не расставался, маленький барабан и два флакона – один из них был полон какой-то жидкости, другой – пуст. Он побрызгал содержимым первого флакона на шамана, и тот задрожал и закивал головой еще сильнее. По воздуху распространился пряный аромат, и сама атмосфера пещеры, казалось, стала прозрачней. Затем, к ужасу присутствующих, он приблизился к тибетцу, и, вынув из кармана миниатюрный кинжал, вонзил острую сталь в предплечье шамана, и, когда пошла кровь, он наполнил пустой флакон. Заполнив его на половину, он большим пальцем зажал рану и остановил кровь так же легко, как будто заткнул пробкой бутылку. Затем он побрызгал кровью на голову мальчика. После этого он повесил барабан себе на шею и, взяв в руки барабанные палочки из слоновой кости, покрытые магическими знаками и буквами, стал отбивать что-то вроде побудки, чтобы разбудить, по его словам, дух звуков.

Свидетели этих приготовлений, потрясенные и перепуганные неожиданностью

происходящего, жадно окружили его и какие-то несколько мгновений в высокой пещере царила тишина. Николай по-прежнему стоял на месте, словно потеряв дар речи, лицо у него было бледное, как у покойника. Гипнотизер встал на площадке между озером и шаманом и начал медленно отбивать ритм. Первые звуки его были настолько глухи, что они тихо разносились по воздуху и даже эхо не могло подхватить их. Только шаман стал раскачиваться еще быстрее, а ребенок забеспокоился. Тогда барабанщик тихо запел медленную и торжественную песню.

Неизвестные слова потекли с губ певца, пламя свечей и факелов заколебалось и замерцало и постепенно стало мерцать и колебаться подчиняясь ритму песни. Из темных коридоров на противоположном берегу подземного озера подул холодный ветер, принес с собой жалобное эхо. Затем какие-то туманные пары, которые словно потекли из скал пола и стен пещеры, собрались вокруг шамана и мальчика. Вокруг последнего возникла серебристая прозрачная аура. Однако, облако, окружавшее первого, стало багровым и зловещим. Приблизившись к краю выступа, маг забил в барабан еще громче и на этот раз эхо подхватило его с ужасающей силой. Барабанная дробь раскатами грома прокатилась под сводами пещеры, один вопль сменял другой, становясь все громче и громче, пока громоподобный рев не стал походить на хор голосов тысячи демонов, поднимающихся с бездонных глубин озера. И даже вода, которая была гладкой, как стекло, вдруг заволновалась, словно мощный порыв ветра пронесся над ее безмятежной поверхностью.

Послышалась другая песня, дробь барабана сменилась, и гора задрожала до самого основания от ударов грома, похожих на пушечные выстрелы, которые прокатывались по дальним темным коридорам. Тело шамана поднялось в воздух на два ярда и он, кивая и раскачиваясь, повис там, как привидение. Однако изменения, которые происходили с мальчиком, наполнили всех холодным ужасом. Все смотрели на него онемев. Серебряное облако, окружившее мальчика, тоже, казалось, поднимало его в воздух. Однако, в отличие от шамана, его ноги оставались на земле. Ребенок начал расти, будто секунды чудесным образом превратились в годы. Он стал высоким и крупным, старческие черты его лица постарели еще больше вместе с повзрослевшим и состарившимся телом. Прошло еще несколько секунд, от мальчика ничего не осталось, его полностью поглотил другой человек, и к ужасу тех, кто узнал его, этим другим оказался старый господин Изверцов. На виске его зияла огромная рана, из которой крупными каплями сочилась кровь.

Призрак направился к Николаю и остановился прямо перед ним. У того волосы стояли дыбом, и он, как безумец, смотрел на собственного сына, который превратился в дядюшку. Внезапно гробовую тишину нарушил голос венгра, который спросил, обращаясь к призраку:

– Именем великого Владыки, именем Того, в чьих руках вся власть, говори правду и только правду. Беспокойный дух, что погубило тебя, несчастный случай или подлое убийство?

Губы привидения зашевелились, но в ответ раздались скорбные крики эха: – Убийство! Убийство!! Убийство!!!

– Кто? Как? Когда? – спрашивал колдун. Призрак показал пальцем на Николая и, не сводя с него глаз и не опуская руки, начал медленно отступать к озеру. И с каждым его шагом молодой Изверцов, как будто подчиняясь непреодолимому влечению, двигался вслед за ним, пока призрак не дошел до озера. В следующее мгновение он уже скользил по его поверхности. Это была страшная, чудовищная сцена!

Когда виновный оказался в двух шагах от края водной бездны, по его телу пробежала сильная судорога. Он бросился на колени, и в отчаянии обхватил руками одну из старых скамеек и, не отрывая дикого взора от призрака, издал долгий, пронзительный вопль невыносимого страдания. Призрак остановился на поверхности озера и медленно поманил Николая за собой. Стоя на коленях, охваченный ужасом, несчастный кричал, и эхо пещеры громкогласно повторяло его слова: – Нет... Нет, я не убивал тебя!

Затем послышался всплеск и посередине озера в темной воде очутился мальчик, который барахтался и тонул, а над ним все так же стояло суровое привидение и неподвижно

смотрело на него.

– Папа, папа! Спаси меня... Я тону! – закричал жалобный тонкий голос, подхваченный громогласным настойчивым эхо.

– Мальчик мой! – вскричал Николай, как маньяк вскакивая на ноги. – О, спасите его!.. Да, я признаюсь. Я – убийца... Это я убил его!

Снова слышался всплеск, и призрака не стало. С криками ужаса все бросились к краю площадки, но тут же их ноги словно приросли к земле, они увидели, что какая-то беловатая масса обхватила убийцу и мальчика в водовороте посередине озера и теперь медленно опускалась с ними в бездонную глубину...

Следующим утром, проведя бессонную ночь, некоторые из присутствовавших в пещере, посетили дом, в котором остановился венгерский путешественник, но они обнаружили, что дом пуст и заперт. И путешественник, и шаман исчезли. Многие из старых обитателей городка П. помнят его, а глава местной полиции, полковник С., который умер всего несколько лет назад, был совершенно уверен в том, что благородным путешественником был сам дьявол. Всеобщий ужас усилился, когда узнали, что в ту самую ночь в имении Изверцова вспыхнул пожар, и оно сгорело дотла. Священник сослужил молебен на пожарище для изгнания злых духов, однако, до сих пор место, где стояла усадьба, считается проклятым. Комиссия из Петербурга расследовала все факты, связанные с происшествием, и приказала хранить молчание.

Светящийся щит

Наша маленькая избранная компания представляла собой группу беззаботных путешественников. За неделю до этого мы приехали в Константинополь из Греции и с тех пор по четырнадцать часов каждый день ходили вверх и вниз по крутым склонам Перы, посещали базары, забирались на крыши минаретов и пробивались через полчища голодных собак, этих вековых повелителей улиц Стамбула. Кочевая жизнь заразительна, как говорят, и никакая цивилизованность не способна разрушить очарование неограниченной свободы после того, как вы ее вкусите. Цыгана нельзя заставить покинуть его шатер, и даже обычный бродяга находит особое наслаждение в своей тяжелой неустроенной жизни, наслаждение, которое мешает ему найти постоянное жилье и занятие. Поэтому во время пребывания в Стамбуле главной моей заботой было защитить моего любимца спаниэля Ральфа от этой инфекции и помешать ему присоединиться к бедуинам собак – его рода, которые, как тараканы, кишели на улицах. Ральф был хорошей собакой, он был моим постоянным спутником и другом. Я боялась потерять его и поэтому постоянно следила за ним. Однако первые три дня он вел себя как вполне приличный, образованный пес, все время верно следуя за мной по пятам. Во время каждой наглой атаки со стороны своих мусульманских собратьев, независимо от того, было ли это демонстрацией враждебности или предложением дружбы, он каждый раз только поджимал хвост и с видом достойного смирения прятался за меня или за кого-либо из нашей компании.

Так как Ральф с самого начала проявил отвращение к случайным знакомствам, у меня появилась уверенность, что он будет вести себя прилично, и уже к концу третьего дня, я совсем не так бдительна – но наблюдаю за ним. Такая небрежность очень скоро, однако, была наказана, и мне пришлось пожалеть о своей доверчивости. В какой-то момент, когда я не смотрела на него, мой спаниэль услышал зов четвероногой Сирены, и последнее, что я увидела, это его пушистый хвост, когда он исчезал за углом кривого, узкого и грязного переулка.

Очень расстроившись, я провела весь остаток дня в тщетных поисках бессловесного спутника. Я предлагала и двадцать, и тридцать, и сорок франков в награду тому, кто найдет его. И вот порядка сорока бродячих мальтийцев устроили настоящую охоту за моим спаниэлем, и вечером у отеля нас осадил целый отряд этих бродяг, причем у каждого из них в руках была дворняжка невероятного происхождения, которую он изо всех сил старался

выдать за моего потерянного друга. И чем категоричнее я отрицала это, тем торжественней они клялись мне, что именно их пес и есть мой спутник, а один из бродяг даже встал на колени, вытащил из-за пазухи старый позеленевший образок с Мадонной и поклялся, что сама царица небесная указала ему на эту собаку. Шум усиливался и стало ясно, что исчезновение моего спаниэля может стать причиной потасовки. В конце концов владелец отеля послал за полицией и весь этот полк двуногих и четвероногих существ был изгнан силой. Я стала все больше убеждаться в том, что никогда не увижу свою собаку, слова портье гостиницы усилили мое горе. Этот человек, с внешностью благородного бандита, который, судя по всему, провел на галерах каких-то пять-шесть лет, со всей серьезностью уверял меня, что все мои усилия напрасны, так как спаниэль мой, без сомнения, уже мертв и съеден турецкими собаками, которые очень любят мясо своих более мирных и более упитанных английских собратьев.

Все это происходило на улице, прямо перед отелем, и я уже было собралась отказаться от поисков, по крайней мере на ночь, и уйти в гостиницу, когда старая гречанка-фанариотка, которая слышала весь этот там-тарарам со своего крыльца неподалеку, подошла к моим безутешным друзьям и предложила одной из них, мисс Х., спросить дервишей о судьбе Ральфа.

– А что могут дервиши знать о моей собаке? – спросила я ее, не имея ни малейшего желания шутить, хотя предложение было явно смехотворным.

– Святые люди знают все, кирея (мадам), – ответила она немного таинственно. – На прошлой неделе у меня украли новую атласную мантилью, которую сын привез мне из Бруссы, а сейчас, как видите, она на мне.

– В самом деле? Тогда святые, помимо всего прочего, превратили вашу новую мантилью в старую, – сказал один из джентельменов, которые нас сопровождали, показывая на большую дырку на спине мантильи, зашитую большими неуклюжими стежками.

– А это и есть самое удивительное во всей истории, – тихо ответила ему фанариотка, нисколько не смущаясь. – Они показали мне в светящемся круге квартал, дом и даже комнату, в которой еврей, укравший мою мантилью, собирался распороть ее и разрезать на кусочки. У моего сына и у меня едва хватило времени добежать до Калинджикулосека и спасти мантилью. Мы застали еврея в тот самый момент, когда он разрезал мантилью со спины, и тут же узнали в нем того самого человека, которого дервиши показали нам в своей магической луне. Он признался в краже и теперь сидит в тюрьме.

Хотя никто из нас не имел ни малейшего представления, что она имела в виду под магической луной и сияющим кругом, все мы были совершенно ошеломлены ее рассказом о проницательности «святых людей». Ее манеры, однако, убедили нас, что ее рассказ не совсем выдумка. А поскольку она, во всяком случае, сумела как-то получить назад свою собственность, мы решили сами отправиться к дервишам следующим утром и узнать, не могут ли они и нам помочь.

Монотонные крики муэдзинов с вершин минаретов объявили о наступлении полдня, когда мы, спустившись с высот Перы к порту Галата с трудом протискивались через грязные толпы торгового квартала города. Не успели мы добраться до порта, как нас уже наполовину оглушили крики и непрерывные пронзительные вопли, вавилонское столпотворение языков. В этой части города бессмысленно ориентироваться по номерам домов или названиям улиц. Местонахождение нужного вам дома обычно определяется по близости к какому-либо более или менее заметному зданию, такому, как мечеть, баня или европейский магазин. В остальном же приходится полагаться на аллаха и его пророка.

Поэтому нам с огромным трудом удалось найти английский магазин корабельных принадлежностей, позади которого должно было находиться место, куда мы стремились попасть. Гид, взявшийся проводить нас от гостиницы, так же плохо знал дорогу туда, как и мы, но в конце концов маленький грек, одетый почти что в костюм нашего праотца Адама, согласился за небольшую медную монету отвести нас к танцующим дервишам.

Когда мы пришли, нас провели в просторный сумрачный зал, который походил на

заброшенную конюшню. Зал был длинный и узкий, и пол его, как пол манежа, был покрыт толстым слоем песка. Единственным источником света были маленькие окна, расположенные довольно высоко от земли. Дервиши уже закончили свое утреннее представление и отдыхали от изнурительных трудов. Они выглядели совершенно измотанными, некоторые из них лежали у стен, другие сидели, сложив ноги и уставившись в пустоту, занятые, как нам сказали, медитацией, созерцанием своего невидимого божества. Казалось, они потеряли всякую способность видеть и слышать, так как никто из них не реагировал на наши вопросы, пока из дальнего угла не появилась худая фигура человека в большом тюрбане, из-за которого он казался необычайно высоким. Сообщив нам, что он – их глава, этот гигант дал нам понять, что святые братья обычно получают повеление о дополнительных обрядах от самого аллаха, и поэтому их ни в коем случае нельзя беспокоить. Однако, когда переводчик объяснил ему цель нашего визита, которая касалась только его самого, поскольку он был единственным распорядителем «столпа прорицаний», он перестал возражать и протянул руку, требуя вознаграждения. Получив требуемое, он сказал, что знание будущего можно доверить только двум человекам одновременно. Потом он повернулся и повел за собой мисс Х. и меня.

Мы нырнули вслед за ним в какой-то полуподземный коридор. По нему мы прошли к основанию высокой приставной лестницы, которая вела в комнату под крышей. Мы забрались по лестнице вслед за своим провожатым и оказались в жалкой мансарде средней величины с голыми стенами без всякой мебели. Пол ее был покрыт густым слоем пыли, со стен обильно свисали лохмотья старой паутины. В углу комнаты что-то лежало. Поначалу я приняла этот предмет за кучу тряпья, однако куча тряпья скоро задвигалась, встала на ноги, вышла на середину комнаты и остановилась перед нами, оказавшись самым необычным существом, какое мне когда-либо приходилось видеть. Пол этого существа был явно женским, хотя решить был ли это ребенок или женщина было невозможно. Она была отвратительным карликом с огромной головой, плечами гренадера и соответствующей талией, однако это тело передвигалось на тоненьких, паучьих ножках, которые, казалось, физически были не в состоянии носить такую чудовищную тяжесть. На лице ее кривилась усмешка-сатира, щеки, лоб, подбородок ее были украшены надписями и знаками из Корана, написанными ярко-желтой краской. На лбу сиял кроваво-красный полумесяц, на голове была пыльная феска, а на ногах – широкие турецкие шаровары, тело с трудом скрывал белый муслин. Это существо скорее упало, чем уселось посреди комнаты, и, когда ее тело коснулось прогибающихся досок, поднялось целое облако пыли, и мы стали кашлять и чихать. Перед нами была знаменитая Татмос, известная также под именем Оракул Дамаска!

Не теряя времени на пустые разговоры, дервиш достал кусочек мела и провел вокруг сидящей девушки круг диаметром около шести футов, затем, вытащив из-за двери двенадцать небольших медных ламп, он наполнил их какой-то темной жидкостью из маленького флакона, который он достал из-за пазухи. После этого он расположил лампы симметрично вдоль магического круга. Потом он отщепил кусочек дерева от рамы полуразбитой двери, которая хранила следы множества подобных действий и, взяв большим и указательным пальцами щепу, он начал дуть на нее через правильные промежутки времени. Подув на нее немного, он начал шептал какие-то странные заклинания, потом снова дул и снова шептал заклинания до тех пор пока вдруг без всякой видимой причины на щепе не появилась искра и кусочек дерева загорелся, как сухая спичка. Затем дервиш зажег двенадцать ламп этим самовоспламенившимся огнем.

Все это время Татмос сидела совершенно неподвижно, не проявляя никакого интереса к окружающему. Она сняла со своих босых ног желтые тапки и, бросив их в угол комнаты, она показала нам свою гордость – по шестому пальцу на каждой скрюченной ноге. В этот момент дервиш вошел в магический круг, схватил карлицу за лодыжки и дернул ее, как будто поднимал куль с зерном. Он поднял ее за ноги головой вниз. Потом он отступил назад на один шаг и потряс ее, как обычно трясут мешок для того, чтобы улеглось его содержимое, причем делал он это легко и ритмично. Затем он начал раскачивать ее вправо и влево, как

маятник, пока, набрав нужную скорость, он не отпустил одну ногу и, взявшись двумя руками за другую, мощным усилием начал раскручивать ее в воздухе как индийскую дубинку.

Моя спутница в тревоге отступила в дальний конец комнаты. Дервиш все крутил и крутил живую «булаву». Она оставалась абсолютно пассивной. Скорость движения все увеличивалась и увеличивалась, и скоро глаз уже не успевал проследить за движением тела. Это продолжалось, пожалуй, около двух или трех минут, пока жонглер постепенно не замедлил движение, и остановившись, наконец, не поставил девушку на колени посередине освещенного лампами круга. Таков восточный метод гипноза в том виде, в каком он практикуется дервишами.

Теперь карлица, казалось, была в глубоком трансе и полностью забыла обо всем окружающем. Челюсть ее отвисла, а голова опустилась на грудь, глаза остекленели и смотрели вперед. Ничего не видя, она стала еще более отвратительной, чем раньше. Тогда дервиш закрыл ставни единственного окна в комнате, и мы бы оказались в полной темноте, если бы в ставнях не было отверстия, через которое в комнату проникал яркий луч света, который падал на девушку. Дервиш поставил ее так, чтобы луч солнца падал ей на темя, а потом, жестом попросив нас соблюдать тишину, он сложил руки на груди, устоялся на яркую точку, которую образовывал солнечный луч на голове девушки, и замер словно каменный идол. Я не отрываясь смотрела на пятно света и думала о том, что случится дальше, и как этот странный обряд поможет мне найти Ральфа.

Постепенно яркое пятно стало как бы впитывать через острый луч яркий солнечный свет, падавший на дом снаружи. Яркое пятно накапливало этот свет и превращалось в ослепительную звезду, от которой, как из точки фокуса, в разные стороны исходили лучи.

Возник любопытный оптический эффект: комната, которая раньше освещалась солнечным лучом, стала темнеть, а звезда становилась все ярче и ярче и так до тех пор, пока ты не почувствовал, что находишься в полной темноте. Звезда мерцала, задрожала и повернулась, сначала медленно, как волчок, потом она закружилась все быстрее и быстрее, и с каждым оборотом ее размеры увеличивались до тех пор, пока она не превратилась в ослепительно яркий диск, за которым мы больше не могли разглядеть карлицу, которую, казалось, поглотил свет этого диска. Постепенно набрав чрезвычайно высокую скорость вращения, как и девушка в руках дервиша, диск начал вращаться медленнее и медленнее, пока его вращение не стало напоминать слабое колебание, похожее на игру лунного света на ночной ряби. Потом диск мигнул еще раз, испустил несколько последних вспышек и стал плотным и сияющим, как дорогой опал, остановившись в неподвижности. Теперь диск сиял луноподобным светом, мягким и серебристым, но он, этот свет, не освещал мансарду, а, казалось, только усиливал темноту в ней. Края круга не были туманны, напротив, они были очерчены четко, как края серебряного щита.

Теперь, когда все было готово, дервиш, не говоря ни слова и не отрывая глаз от диска, нашел в темноте мою руку и потянул меня к себе, показав на светящийся диск. Приглядевшись, мы увидели больше, чем пятна, похожие на пятна на Луне, они постепенно превратились в фигуры людей, которые подобно рельефу в натуральном цвете, стали двигаться по поверхности щита. Они не были похожи ни на фотографию, ни на гравюру, еще меньше они походили на отражение в зеркале. Диск был похож на камню, и фигурки как бы вырастали на его поверхности, а затем получали движение и жизнь. К моему удивлению и страху моей подруги, мы вдруг узнали мост из Галаты в Стамбул через Золотой Рог, который соединял Старый и Новый город. По мосту туда и сюда спешили люди, пароходы и веселые турецкие лодки скользили по голубой глади Босфора, множество красивых зданий, вилл и дворцов отражались в воде, и всю картину освещало полуденное солнце. Вид этот проходил перед нашими глазами как панорама, но изображение было настолько ясным, что мы не могли понять, то ли мы сами движемся, то ли изображение движется перед нашими глазами. Перед нами бурлила жизнь, но ни единый звук не нарушал тяжелой тишины. Картина была беззвучна, как сон. Это было призрачное видение. Улица за улицей и квартал за кварталом проходили перед нашими глазами: вот перед нами базар с его узкими рядами маленьких

лавочек под навесами, вот кофейня с серьезными, курящими кальяны турками, и, когда мы скользили мимо одной из кофеен, или она скользила мимо нас, один из курильщиков опрокинул кальян и кофе соседа, и нам доставил немалое удовольствие поток беззвучных ругательств. И так мы путешествовали по городу, пока не оказались перед большим дворцом, в котором я узнала дворец министра финансов. В канаве, позади дворца, неподалеку от мечети, в луже грязи лежал всклокоченный бедняга Ральф! Тяжело дыша и распластавшись на земле, он казался измученным и умирающим. А вокруг него собрались довольно жалкого вида дворняги, которые лежали на солнце, моргая, и ловили блох.

Я увидела то, что хотела, хотя не говорила дервишу ни слова о собаке, да и вообще пришла скорее из любопытства, не надеясь на успех. Мне не терпелось тут же пойти и получить Ральфа назад, но моя спутница попросила меня задержаться ненадолго, и я неохотно согласилась. Картина на диске исчезла, и мисс Х. заняла в свою очередь место рядом с дервишем.

— Я буду думать о НЕМ,— шепнула она мне на ухо тем горячим голосом, каким молодые леди обычно говорят о любимом человеке.

На диске появилась длинная полоса песчаного берега и голубое море с пляшущими барашками. По морю под ярким солнцем движется огромный пароход. Он идет вдоль пустынного берега, оставляя за собой молочно-белый след. На его палубе кипит жизнь: на носу что-то делают матросы, внизу из люка появился кок в снежнобелых колпаке и переднике, то там, то здесь проходят морские офицеры в форме, пассажиры толпятся на шканцах, либо сидя в складных креслах, флиртуют или читают, а молодой человек, которого мы обе узнаем, подходит к краю палубы и смотрит вдаль. Это ОН.

У мисс Х. прерывается дыхание, она краснеет и улыбается, а потом снова сосредоточивается. Изображение парохода исчезает, на какое-то мгновение магическая луна остается пустой, потом на ее сверкающей поверхности появляются новые пятна и мы видим, как из ее глубин появляется библиотека. Это большая библиотека с зелеными коврами и гардинами, по стенам всюду стоят книжные полки, а посередине в кресле за столом под висячей лампой сидит и пишет старый джентльмен. Его седые волосы зачесаны назад, лицо чисто вырито, оно выражает доброжелательность.

Торопливым движением дервиш потребовал тишины. Свет на диске задрожал, но потом снова ровно засиял, и на какую-то секунду его поверхность оставалась пустой. И вот мы опять видим Константинополь, и теперь из жемчужных глубин щита появляется наш собственный номер в гостинице, бумаги и книги разложены на бюро, дорожная шляпа моей подруги лежит в углу, а ленты висят на зеркале. На кровати лежит то самое платье, которое она сменила перед тем, как отправиться со мной сюда. Каждая деталь точно указывала на место, в котором мы провели ночь, как будто кому-то было важно доказать, что то, что мы видели — реальность, а не нечто, вызванное нашим воображением. Как последнее доказательство, на туалетном столике лежали два письма, написанные разными почерками, моя спутница бы-стро узнала. Одно из них пришло от ее родственника. Он был очень дорог ей, и она давно, еще в Афинах, ждала от него вестей, но так и не дождалась. Картина исчезла, и мы увидели комнату ее брата. Сам он лежал в кресле, а слуга мыл ему голову, с которой, к нашему ужасу, текла кровь. Час назад мы оставили паренька в полном здравии и теперь, увидев такую картину, моя спутница испустила крик ужаса, схватила меня за руку и потащила к двери. Внизу, в длинной зале мы присоединились к нашему провожатому и к друзьям и поспешили обратно в гостиницу.

Молодой Х. упал с лестницы и довольно сильно рассек лоб, в нашей комнате на туалетном столике действительно лежали письма, которые прибыли в наше отсутствие. Оба нам переслали из Афин. Заказав экипаж, я немедленно поехала к министерству финансов и там вместе с провожатым я торопливо пошла к канаве, которую впервые в жизни увидела на сияющем диске. Там, посреди лужи, весь в грязи, всклокоченный, полумертвый от голода, но все еще живой, лежал мой красавец спаниэль Ральф, а вокруг него были те же самые моргающие дворняжки, которые равнодушно ловили зубами блох.

Из северных земель Рождественская история

Ровно год назад, под Рождество, в загородном доме, а точнее сказать, старом родовом замке одного богатого финского землевладельца, собралось многочисленное общество. Все здесь было окрашено гостеприимством, унаследованным от наших предков, на всем лежала печать средневековых обычаев, связанных с преданиями и суевериями, финскими и русскими. Последние были завезены сюда с берегов Невы женщинами, владевшими в разное время замком.

В доме наряжали рождественские елки и готовились к гаданию. В этом старинном замке на стенах висели покрытые плесенью мрачные портреты знаменитых предков, дам и рыцарей, были здесь и пустынные башни с бастionsами и готическими окнами, и таинственные коридоры, и темные бесконечные погреба, с легкостью превращавшиеся в потайные ходы и подземелья, в темницы, населенные беспокойными призраками героев местных легенд. Короче говоря, все в этом замке располагало к страшным романтическим историям. Но увы! На сей раз они нам не понадобятся. В нашем рассказе эти добрые старые ужасы не будут играть той роли, которая им обычно отводится.

Главный его герой – ничем не примечательный человек. Назовем его Эрклером. Итак, доктор Эрклер, профессор медицины, немец по отцу и вполне русский по матери и по образованию, полученному в России, ничем особенным не выделялся, хотя был довольно крепкого телосложения. И тем не менее с ним случались весьма необычные вещи.

Как оказалось, Эрклер был заядлым путешественником. По собственной воле он сопровождал одного из самых известных исследователей в его кругосветных путешествиях. Не раз они смотрели смерти в лицо, мужественно перенося тропический зной и полярный холод. Но несмотря на это, доктор всегда с большим воодушевлением рассказы- вал о зимовках в Гренландии и на Новой земле, о пустынях Австралии, где они на завтрак ели кенгуру, а на обед – мясо эму, и о том, как они едва не погибли от жажды во время сорокачасового перехода по безводной пустыне.

«Да,– говорил он,– я испытал в жизни почти все, за исключением того, что вы назвали бы сверхъестественными явлениями. Правда, если не брать в расчет некий необыкновенный случай – я имею в виду встречу с одним человеком, о котором вам сейчас расскажу – и его... в самом деле довольно странные, я бы даже сказал, совершенно необъяснимые последствия...»

Все сразу потребовали от него объяснений, и доктор, вынужденный уступить уговорам, начал свой рассказ.

«В 1878 году обстоятельства вынудили нас встать на зимовку на северо-западном берегу Шпицбергена. В течение короткого северного лета мы пытались пробиться к полюсу, но, как это обычно бывает, попытки окончились неудачей из-за айсбергов, и нам пришлось отступить. Едва мы разбили лагерь, как спустилась полярная ночь, и наши корабли оказались в ледовом плену в заливе Массела. И мы поняли, что восемь долгих месяцев будем отрезаны от остального мира. Признаться, я поначалу этому ужаснулся. Снежный буран, за одну ночь разбросавший большую часть строительных материалов, предназначенных для зимних жилищ, и погубивший более сорока оленей из нашего стада, привел нас в уныние. Перспектива голодной смерти не способствовала хорошему настроению. С потерей оленей мы лишились жаркого – наилучшего средства от полярных морозов, ведь в таком климате организм человека нуждается в дополнительном тепле и хорошем питании. Однако мы смирились с нашими потерями и даже привыкли к здешней, на самом деле более питательной, пище – тюленьему мясу и жиру. Из оставшегося материала наши люди построили дом, разделенный на два отсека (один предназначался для трех профессоров и для меня, другой – для всех остальных), и несколько деревянных сараев, предназначенных для метеорологических, астрономических и магнитных исследований, и даже стойло для

нескольких уцелевших оленей. И тогда бесконечной чередой потянулись однообразные полярные дни и ночи без рассвета, которые можно было различить друг от друга с большим трудом, только по темно-серым теням. Временами нас охватывала ужасная тоска. В сентябре мы собирались отправить домой два из трех наших кораблей, но преждевременно образовавшиеся вокруг них ледяные стены разрушили наши планы. Теперь, когда к нам присоединились экипажи судов, мы были вынуждены еще больше экономить наш скудный провиант, топливо и свет. Лампы использовались только для научных целей, в остальное время нам приходилось довольствоваться естественным освещением, создаваемым луной и северным сиянием.

...Как описать этот изумительный, ни с чем не сравнимый полярный свет! Все эти кольца, стрелы, гигантские зарева, сотканые из четко отграниченных друг от друга лучей самых ярких и разнообразных оттенков. Ноябрьские лунные ночи были пленительно прекрасны. Переливы лунного света на снегу и обледеневших скалах поражали воображение. Это были сказочные ночи!

И вот, в одну из таких ночей – а, может быть, и дней, ибо, насколько я помню, с конца ноября и почти до середины марта там совсем не было сумерек, позволяющих отделить день от ночи, – на фоне разноцветных лучей, окрашивающих снежные равнины в золотисто-розовые тона, мы вдруг заметили темное движущееся пятно. Оно увеличивалось в размерах и, казалось, дробилось по мере приближения к ним. Что это было: стадо или группа людей, торопливо идущих по снежной пустыне! Но животные были там белого цвета, как и все вокруг. Что же это тогда? Люди?..

Мы не могли поверить своим глазам. Действительно, группа людей приближалась к месту нашей зимовки. Это были пятьдесят охотников на тюленей, которых возглавлял Матилисс, знаменитый мореплаватель из Норвегии. Как и мы, они также оказались в плену у айсбергов.

«Как вы узнали, что мы находимся здесь?» – спросили мы.

«Нас привел сюда старый Йохен», – ответили они, указывая на почтенного седовласого старца. По правде говоря, их проводнику следовало бы сидеть дома у очага, а не охотиться на тюленей вместе с более молодыми мужчинами в северных краях. И мы сказали им об этом и опять спросили, как же все-таки он узнал о нашем присутствии в этом царстве белых медведей. Матилисс и члены его команды улыбнулись в ответ и заверили нас, что старый Йохен знает обо всем. Они заметили, что мы, вероятно, впервые в заполярье, раз ничего не слышали о Йохене и продолжаем удивляться тому, что говорят о нем.

«...Вот уже почти сорок пять лет, – сказал предводитель охотников, – как я охочусь на тюленей в северных морях, и, насколько помню, он всегда был таким же, как и сейчас, седобородым стариком. И даже в те далекие времена, когда я, будучи маленьким мальчиком, ходил в море со своим отцом, он рассказывал мне о старом Йохене то же самое и добавлял при этом, что и его отец и дед также знали с детства старого Йохена, который всегда был белым, как наши снега. И мы, охотники на тюленей, как и наши предки, до сих пор зовем его «седым ясновидцем».

«Неужели вы хотите убедить нас в том, что ему двести лет!» – рассмеялись мы. Некоторые из наших моряков, столпившихся вокруг этого седовласого чуда, засыпали его вопросами.

«Сколько же вам лет, дедушка?»

«Я и сам не знаю, сыночки. Я живу ровно столько, сколько определил мне Господь. Я никогда не считал свои годы».

«А как вы узнали, что мы зимуем именно в этом месте?»

«Дорогу мне указывал Бог. Как это получилось, я не знаю. Единственное, что мне было известно, это куда надо держать путь».

Ожившая скрипка

В 1828 году в Париж со своим учеником приехал старый немец – учитель музыки – и поселился в одном из тихих предместий столицы. Старика звали Самуэль Клаус; имя ученика звучало более поэтично – Франц Стенио. Молодой человек, по слухам, был скрипачом с необыкновенным, почти сказочным талантом. Поскольку он был беден и не успел еще сделать себе имени в Европе, он провел несколько лет в столице Франции – центре переменной континентальной моды – в полной безвестности. Франц был родом из Штирии; ко времени описываемых здесь событий ему было двадцать с небольшим. Будучи философом и мечтателем по натуре, наделенным всеми мистическими странностями подлинного гения, он напоминал кого-то из героев фантастических сказок Гофмана. Юные годы Франца протекали в очень необычной, даже чудной обстановке. И об этом необходимо сказать несколько слов, чтобы читателю стала понятнее эта история.

Франц родился в тихом городке, затерянном среди Штирийских Альп, в семье набожных сельчан. Ребенка нянчили «гномы, которые присматривали за его колыбелькой»; он рос в странной атмосфере, наполненной рассказами о привидениях и вампирах, играющих такую важную роль в жизни каждого штирийца и словенца, обитающего на юге Австрии, и позднее получил образование в Германии, под сенью средневековых рейнских замков. С самого детства Франц прошел через все эмоциональные стадии увлечения так называемыми «сверх– естественными явлениями». Одно время он изучал «оккультные науки» вместе с восторженным последователем учения Парацельса и Кунрата. В алхимии для него почти не осталось никаких секретов, а, познакомившись с венгерскими цыганами, он попробовал себя в «ритуальной магии» и в «колдовстве». Но больше всего на свете Франц любил музыку, а еще больше музыки – свою скрипку.

Когда ему исполнилось 22 года, он вдруг оставил практические занятия оккультизмом и с этого дня целиком посвятил себя искусству, хотя в глубине души был предан прекрасным греческим богам. Из уроков по античной литературе в памяти у него сохранилось все, что имело отношение к музам, особенно к Эвтерпе, алтарю которой он поклонялся, и Орфею, волшебную кифару которого он старался превзойти, играя на скрипке. Нимфы и сирены, очевидно, вследствие их двойного родства с музами через Каллиопу и Орфея, занимали воображение Франца гораздо больше, нежели вопросы этого подлунного мира. Все его мечты, подобно фимиаму, подхваченные волной неземной гармонии, которую он извлекал из своего инструмента, уносились в возвышенные и благородные сферы. Он грезил наяву и жил настоящей, хотя и заколдованной жизнью только в те часы, когда благодаря своему волшебному смычку в потоке звуков возносился к языческому Олимпу, к ногам Эвтерпы. Он был странным ребенком, ибо рос в атмосфере всевозможных историй о колдовстве и магии, затем превратился в еще более странного юношу, и наконец достиг зрелого возраста, при этом ничто свойственное юности не коснулось Франца. Ни одно прекрасное девичье лицо не привлекло к себе его взора, ни разу за все время одиноких занятий его мысли не обращались к тому, что лежало за пределами жизни знакомых ему цыган-мистиков. Довольствуясь своим собственным обществом, он провел так лучшие годы отрочества и юности, в качестве своего главного идола имея скрипку, а своими единственными слушателями – богов и богинь древней Эллады, пребывая в полном неведении относительно практической жизни. Все его существование было одним нескончаемым днем, наполненным грезами, музыкой и солнечным светом, и Франц никогда не испытывал никаких иных желаний.

Какими ничтожными, но в то же время какими чудесными были эти мечты! Какие яркие картины вспыхивали в его сознании! Стоило ли желать какой-то лучшей доли? Разве он не был тем, кем хотел быть, молниеносно превращаясь то в одного, то в другого героя, – то в Орфея, которому вся природа внимала, затаив дыхание, то в пастуха, игравшего на свирели наядам в тени платана у чистейшего источника Каллихоры? Разве не сбегались быстроногие нимфы на звуки волшебной флейты аркадского пастуха, которым был он? Сама

богиня Любви и Красоты спускалась к нему со своего Олимпа, привлеченная его сладкозвучной скрипкой!.. Однако пришло время, когда он предпочел Афродите Сирингу – но не преследуемую Паном прекрасную нимфу, а уже превращенную милосердными богами в тростник, из которого обманутый бог пастухов сделал себе волшебную свирель. Когда он пытался передавать на своей скрипке пленительные звуки, раздававшиеся у него в голове, весь Парнас зачарованно умолкал или отзвучивал на его игру небесным хором. Однако теперь Франц страстно мечтал добиться признания не у богов, воспетых Гесиодом, а у самых придирчивых ценителей музыки из европейских столиц. Ведь человек всегда стремится к чему-то большему, и его тщеславие редко бывает удовлетворено. Он завидовал волшебной свирели и хотел бы ею обладать.

«О, если бы я мог завлечь нимфу в свою любимую скрипку! – часто восклицал он, пробуждаясь от своих снов наяву.– Если бы я мог хотя бы мысленно перепрыгнуть через пропасть Времени! Если бы мне удалось хотя бы на денек приобщиться к таинственному искусству богов, стать самому богом, приводя в восхищение человечество, проникнуть в тайну лиры Орфея или заключить сирену в свою собственную скрипку – на благо всем смертным и во славу себе!»

Слишком долго он грезил в обществе воображаемых богов, и теперь им овладели мечты о преходящей земной славе. Но в это время овдовевшая мать Франца неожиданно отозвала сына домой из одного немецкого университета, где он учился последние год или два. Это событие положило конец его планам, по крайней мере на ближайшее будущее, ибо до сих пор он жил на те жалкие гроши, которые она ему посылала, а его средств было недостаточно для самостоятельной жизни вдали от родных мест.

Его возвращение имело неожиданное последствие. Вскоре после приезда нежно любимого сына мать Франца умерла; и добропорядочные жены города чуть ли не целый месяц упражняли свои бойкие языки, строя предположения относительно того, что же явилось истинной причиной ее смерти.

До приезда Франца фрау Стенио была крепкой, пышущей здоровьем женщиной средних лет. Набожная и религиозная, она никогда не забывала о молитвах и не пропустила ни одной утренней мессы за все время отсутствия сына. В первое воскресенье, после того как Франц вернулся домой – этого дня она ждала с нетерпением и не раз воображала, как ее сын преклонит колени подле нее в церковке на холме, – фрау Стенио окликнула его с нижних ступенек лестницы. Ее набожная мечта должна была вот-вот осуществиться, и она поджидала сына, бережно вытирая пыль с молитвенника, которым Франц пользовался в отрочестве. Но вместо Франца на зов матери откликнулась его скрипка, и ее звонкий голос смешался с надтреснутым перезвоном воскресных колоколов. Любящая мать была неприятно поражена, когда услышала, как эти боговдохновенные звуки заглушила какая-то странная и таинственная мелодия «Пляски ведьм», показавшаяся ей неземной и издевательской. Фрау Стенио и вовсе едва не лишилась чувств, услышав решительный отказ нежно любимого сына пойти на церковную службу. Он никогда не ходил в церковь, холодно заметил Франц. Это пустая трата времени; а кроме того, старый церковный орган действует ему на нервы. Ничто не заставит его подвергнуть себя пытке, слушая этот расстроенный инструмент. Франц был неумолим, и переубедить его не было никакой возможности. И чтобы положить конец ее мольбам и увещаниям, он сыграл ей только что сочиненный им «Гимн солнцу».

С этого памятного воскресного утра фрау Стенио утратила душевный покой. Она поспешила в исповедальню, дабы излить свою печаль и найти утешение; но то, что она услышала от сурового священника, наполнило ее кроткую и бесхитростную душу смятением, едва ли не отчаянием. С этого момента ее не покидал страх и чувство глубокого ужаса. Тревога не давала ей уснуть по ночам, а дни она проводила в слезах и молитвах. Тревожась о спасении души своего любимого сына, о его загробной жизни, она принесла несколько поспешных обетов. Но поскольку ни обращение к Божьей матери на латыни, написанное по просьбе фрау Стенио ее духовным отцом, ни ее собственные мольбы на

немецком языке, обращенные ко всем святым, которые, по ее убеждению, пребывали в раю, не принесли желаемого результата, она решила совершить несколько паломничеств к святой часовне, расположенной высоко в горах, она простудилась на ледниках Тироля, спустилась вниз и слегла в постель, с которой так и не поднялась. В каком-то смысле молитвы фрау Стенио все же оказались не совсем напрасными: бедная женщина получила теперь возможность, так сказать, на небесах лично обратиться к святым, которым она так верила, и взмолить их о прощении своего сына вероотступника, отвернувшегося от них и от церкви, глумившегося над монахами и таинством исповеди и не переносившего церковный орган.

Франц искренне оплакивал кончину матери, но, не догадываясь о том, что был косвенной причиной ее смерти, он не испытывал угрызений совести. Продав скромное домашнее имущество, с тощим кошельком и легким сердцем, он решил отправиться в странствия на год или два, прежде чем осесть где-то и заняться каким-нибудь делом.

В основе этого плана совершить путешествие лежало смутное желание увидеть большие города Европы и попытаться счастья во Франции, но привычка к богемному образу жизни была в нем слишком сильна, чтобы сразу с ней расстаться. Свой скромный капитал он отдал банкиру, так сказать, на черный день, и отправился в пешее путешествие по Германии и Австрии. Игрой на скрипке он расплачивался за стол и ночлег на фермах и постоялых дворах, встречавшихся ему по пути, и все время проводил в зеленеющих полях или среди возвышенного безмолвия леса, наедине с природой и, как обычно, предаваясь грезам наяву. За три месяца этих приятных скитаний без определенной цели Франц ни на секунду не спустился с вершины Парнаса на грешную землю. Но, уподобясь алхимику, превращающему свинец в чистое золото, все, что попадалось ему на пути, он обращал в песни Гесиода или Анакреонта. По вечерам, когда он, расположившись на зеленой лужайке или в зале сельского трактира, зарабатывал себе на ужин и ночлег игрой на скрипке, все вокруг него преображалось. В его воображении сельские парни и девушки превращались в аркадских нимф и пастухов, а земляной пол – в прекрасный зеленый газон. Кружившиеся в размеренном вальсе с дикой грацией прирученных медведей неуклюжие пары становились жрецами и жрицами Терпсихоры. Пышнотелые розовощекие и голубоглазые дочери сельской Германии были для него Гесперидами, которые водили хоровод вокруг деревьев, согнувшихся под тяжестью золотых яблок. Но прекрасные мелодии аркадских полубогов, которые играли на своих свирелях и были доступны лишь его волшебному слуху, не исчезали на рассвете. Едва спадала с его глаз пелена сна, как он отправлялся в очередное волшебное царство дневных грез. По дороге к какому-нибудь тенистому и величественному хвойному лесу он беспрестанно играл себе и всему, что его окружало: зеленому холму и горам, и покрытые мхом скалы подступали к нему поближе, чтобы как можно лучше его слышать, словно он был Орфеем. Франц играл веселому ручейку, торопливой реке, и они замедляли бег своих волн, завороченные звуками его скрипки. Даже длинноногий аист, который стоя на одной ноге, замер в задумчивости на соломенной крыше сельской мельницы, сосредоточенно решая для самого себя загадку своего слишком дорогого существования, посылал вслед ему протяжный и пронзительный крик: «О Стенио, ты сам Орфей!»

Это было время полного блаженства, ежедневных и почти ежечасных восторгов. Последние слова умирающей матери, шептавшей ему об ужасах вечного наказания, оставили его равнодушным, и ее предостережение вызвало в нем лишь образ Плутона. Он отчетливо увидел владыку подземного царства, который приветствовал его, как когда-то приветствовал мужа Эвридики. Чарующие звуки скрипки вновь остановили колесо Иксиона, облегчая страдания несчастного соблазнителя Юноны и уличая во лжи тех, кто требовал вечного наказания осужденным грешникам. Тантал забыл о терзавших его голоде и жажде – их утолила небесная мелодия Франца. Сизифов камень замер в неподвижности; и даже фурии улыбались ему, а восхищенный его игрой мрачный Плутон предпочел скрипку Стенио кифаре Орфея. Таким образом, серьезное отношение к мифам, особенно если оно подкреплено безрассудной и страстной любовью к музыке, кажется нам превосходным

средством от страха, возникающего перед лицом богословских угроз. Вместе с Францем Эвтерпа могла одержать верх в любом состязании, даже вступив в схватку с самим властителем ада!

Но все когда-то кончается, и очень скоро Францу пришлось пробудиться от своих нескончаемых грез. Он добрался до университетского городка, где жил его старый учитель музыки Самуэль Клаус. Когда этот старомодный музыкант узнал, что его любимый ученик остался на белом свете один и почти без средств к существованию, он почувствовал, что давняя привязанность к юноше вновь возродилась в его душе с удвоенной силой. Он отдал Францу все тепло своего сердца и стал заботиться о нем, как о родном сыне.

Старый учитель напоминал одного из тех нелепых персонажей, что, кажется, сошли с какого-нибудь средневекового витража. К тому же, обладая странными повадками домового, Клаус отличался необыкновенно отзывчивым сердцем, таким же нежным, как у женщины, и готовностью к самопожертвованию первых христианских мучеников. Когда Франц вкратце изложил ему историю последних лет своей жизни, профессор взял его за руку и, отведя молодого человека к себе в кабинет, просто сказал: «Довольно скитаться, оставайся у меня. Стань знаменитым. Я стар, у меня нет детей, я заменю тебе отца. Будем жить вместе и забудем обо всем, кроме славы».

И Самуэль Клаус сразу же предложил Францу отправиться в Париж через несколько крупных городов Германии, где они будут давать концерты.

За несколько дней Клаус добился того, что Франц забыл свою скитальческую жизнь и связанную с ней артистическую независимость, ему удалось пробудить в нем дремавшее до сих пор честолюбие и жажду мировой славы. С тех пор как умерла его мать, он довольствовался лишь аплодисментами богов и богинь, населявших его воображение; теперь же он опять почувствовал страстное желание снискать восхищение у простых смертных. Под наблюдением умного и заботливого Клауса его замечательный талант крепнул с каждым днем и приобретал все большее очарование. Известность Франца росла, и с каждым новым концертом, который он давал в больших и малых городах, число его поклонников увеличивалось. Его честолюбивые мечты быстро претворялись в жизнь. Признанные гении различных музы- кальных центров, оказывавшие ему покровительство, вскоре провозгласили Франца Стенио лучшим скрипачом современности, а публика во весь голос объявила, что он превзошел всех музыкантов, которых ей доводилось когда-либо слышать. Эти восторженные похвалы скоро вскружили голову и маэстро и его ученику.

Но Париж был более сдержанным в своих оценках. Париж сам создавал репутации, ничего не принимая на веру. Они прожили во Французской столице уже почти три года и все еще с большими трудностями карабкались на артистическую Голгофу, как вдруг произошло событие, отнявшее у них даже самые скромные надежды. В Париж впервые должен был приехать Никколо Паганини, и Лютеция с нетерпением ожидала встречи с ним. И когда этот не имеющий себе равных музыкант прибыл, весь Париж тотчас упал к его ногам.

II

Известно, что, согласно суевериям, зародившимся в мрачную эпоху средневековья и дошедшим почти до середины XIX века, любой незаурядный талант, подобный тому, которым обладал Паганини, люди приписывали действию «сверхъестественных» сил. Всех великих музы- кантов при их жизни обвиняли в сделке с дьяволом. Достаточно напомнить читателю несколько подобных историй.

Так, о великом скрипаче и композиторе XVII столетия Тартини говорили, что своими самыми вдохновенными творениями он обязан дьяволу, которому якобы продал душу. Конечно, подобное обвинение было вызвано тем волшебным впечатлением, которое он производил на своих слушателей. Благодаря виртуозной игре на скрипке за ним в Италии утвердился титул «мастера всех народов». «Соната Дьявола», называемая также «Сном Тартини»,— и это может подтвердить всякий, кто ее слышал,— была самой таинственной из

всех когда-либо сочиненных на земле мелодий, поэтому превосходное произведение стало источником нескончаемых легенд. Они не были совсем беспочвенны, поскольку Тартини сам способствовал их распространению. Он признался, что записал музыку после того, как ему приснился сон, в котором сонату исполнил для него Сатана в результате заключенной с Его Инфернальным Величеством сделки. Даже некоторые знаменитые певцы, чьи необыкновенные голоса вызывали у слушателей восхищение и одновременно суеверный страх, не избежали подобных обвинений. Великолепный голос Пасты объясняли тем, что за три месяца до ее рождения мать оперной дивы, впад в состояние экстаза, вознеслась на небеса и услышала там пение ангелов. Одни говорили, что Малибран обязана своим голосом святой Цецилии, другие утверждали нечто иное – демон баюкал ее в колыбели, и этим будто бы объясняется дар певицы. Наконец, Паганини, обыкновенный итальянец и непревзойденный музыкант, который, подобно Джубалу Драйдена, игравшему на «гармонической раковине», вынуждал толпы людей поклоняться дивным звукам и высказывать догадки, что «вовсе и не бог вселился в его скрипку», так вот, Паганини тоже оставил после себя легенду.

Над почти сверхъестественным искусством величайшего скрипача, которому до сих пор не было равных, часто размышляли, но так и не смогли проникнуть в его тайну. Он производил на публику непостижимое, захватывающее впечатление. Говорят, что великий Россини, услышав впервые, как он играет, плакал, как сентиментальная немецкая девушка. Сестра великого Наполеона, принцесса Элиза де Лукка, на службе у которой состоял Паганини, являясь дирижером ее оркестра, долгое время не могла слушать его игру, ибо падала в обморок. У женщин он по своему желанию вызывал нервные припадки и истерику, стойких мужчин приводил в неистовство. Труссы превращались в героев, а храбрые солдаты становились похожими на слабонервных школьников. Неудивительно, что вокруг имени таинственного генуэзца, этого нового Орфея Европы, многие годы ходили сотни самых невероятных легенд. Одна из них была особенно ужасна. Распространился слух, в который многие верили, хотя и не сознавались в этом, что струны его скрипки сделаны из человеческих кишок в соответствии со всеми правилами и требованиями черной магии. И хотя это кое-кому покажется преувеличением, тут нет ничего невероятного, и очень может быть, что именно эта легенда привела к необыкновенным событиям, о которых мы собираемся рассказать. Восточные колдуны часто используют человеческие органы; и это уже установленный факт, что некоторые бенгальские тантрики (чтецы «тантр», или «обращений к демону», описанные одним почтенным автором) используют трупы людей и их внутренние и внешние органы в магических целях. Как бы то ни было, теперь, когда магнетические и месмерические свойства гипноза признаются большинством врачей, можно гораздо определеннее, чем раньше, говорить о том, что необыкновенное воздействие, оказываемое игрой Паганини, вероятно, нельзя полностью объяснить его талантом и гениальностью. Изумление, смешанное с трепетом, с такой легкостью внушаемое им публике, объяснялось как его внешностью, в которой, по свидетельствам его биографов, «было что-то роковое и демоническое», так и невыразимым очарованием, присущим его виртуозной технике. Последнее подтверждается его безупречной имитацией фляжолета и исполнением протяжных великолепных мелодий на одной струне «соль». Многие музыканты безуспешно пытались воспроизвести эту технику, но Паганини и по сей день остается непревзойденным.

Из-за своей необыкновенной внешности – друзья музыканта именовали ее странной, а чересчур нервные жертвы его исполнительского искусства – дьявольской – опровергнуть нелепые слухи ему было очень нелегко. Современники Паганини были готовы поверить в них скорее, чем мы, живущие ныне. По всей Италии и даже в его родном городе люди шептались о том, что Паганини будто бы убил свою жену, а потом и любовницу, которых страстно любил и которых без колебаний принес в жертву дьявольскому честолюбию. Говорили, что, овладев секретами магии, он заточил души обеих женщин в свою скрипку знаменитую Кремону.

Близкие друзья прославленного Э. Т. А. Гофмана утверждали, что образ советника Креспеля из новеллы «Скрипка Кремоны» автору романа «Эликсир дьявола», «Мастера Мартина» и других очаровательных мистических историй навеяла легенда о Паганини. Те, кто читал новеллу, конечно, помнят историю о знаменитой скрипке: в нее вселилась душа и голос известной дивы, возлюбленной Креспеля, им убитой, а затем к ним добавился голос его любимой дочери Антонии. Очевидно, Гофман слышал игру Паганини, раз он использовал в своем произведении такую странную и на первый взгляд неправдоподобную историю. Однако поверить в нее заставляла необыкновенная легкость, с какой музыкант не только извлекал из своего инструмента какие-то совершенно потусторонние звуки, но и вполне человеческие голоса. Подобные эффекты могли привести публику в изумление, а наиболее впечатлительных повергнуть в состояние ужаса. Добавьте к этому еще и то, что определенный период в юности Паганини был окутан непроницаемой завесой тайны, поэтому самые нелепые вымыслы о нем надо будет признать отчасти не лишними основания, и даже извинительными, особенно если речь идет о народе, предки которого имели своих борджиа и медики в черной магии.

III

В ту далекую пору телеграфа еще не существовало, а газеты вы— ходили ограниченными тиражами, поэтому слава распространялась не так быстро, как ныне.

Франц не сразу услышал о Паганини, но, когда это произошло, он поклялся, что если и не затмит блеск несравненного гёнуэзца, то, по крайней мере, окажется его достойным соперником. Одно из двух: или он станет самым знаменитым из живущих скрипачей, или разобьет инструмент и покончит с собой. Подобная решимость обрадовала старого Клауса, он довольно потирал руки, подпрыгивая на своей хромой ноге, словно увечный сатир, расточал ученику неумные похвалы, льстил, убеждая себя, что делает это во имя святого и возвы— шенного искусства.

Три года назад, когда Франц впервые приехал в Париж, у него были все шансы на успех, но он потерпел неудачу. Музыкальные критики объявили его восходящей звездой, однако пришли к единодушному мнению, что ему понадобится еще несколько лет занятий, прежде чем он сумеет покорить публику. Поэтому после более чем двухлетней подготовки, не прекращавшихся ни на один день самозабвенных упражнений штирийский музыкант наконец почувствовал, что готов к первому серьезному выступлению в просторном зале Оперного театра, где должен был состояться публичный концерт перед самыми придирчивыми критиками Старого света. Но в этот ответственный момент в европейскую столицу прибыл Паганини, что создало препятствие на пути претворения надежд Франца, поэтому старый немец благоразумно отложил дебют своего ученика. Поначалу он подтрунивал над необузданными восторгами, хвалебными гимнами во славу гёнуэзского скрипача и над тем почти суеверным трепетом, с каким произносилось его имя. Но очень скоро образ Паганини превратился в раскаленное железо, которое жгло сердца обоих музыкантов, в пугающего призрака, неотступно преследовавшего Клауса. Прошло еще несколько дней, и они стали вздрагивать при одном лишь упоминании имени их великого соперника, чей успех с каждым вечером становился все более беспримерным.

Первая серия концертов уже заканчивалась, но ни Клаус, ни Франц еще не получили возможность услышать Паганини и оценить его мастерство. Билеты стоили так дорого и такой крохотной была надежда на получение контрамарки у своего коллеги артиста, справедливо считавшегося на редкость скупым в денежных вопросах, что им, как и многим другим, пришлось ждать удачного случая. Но настал день, когда маэстро и его ученик почувствовали, что они больше не могут сдерживать свое нетерпение: они заложили часы и на вырученные деньги купили два самых дешевых билета.

Вряд ли кто сумел бы описать бурю восторга и восхищения, разразившегося в тот памятный, но роковой вечер! Публика неистовствовала: мужчины рыдали, женщины

визжали и падали в обморок, а Клаус и Стенио своей бледностью напоминали призраков. Едва волшебный смычок Паганини коснулся струн, как Франц и Самуэль почувствовали, будто до них дотронулась ледяная рука смерти. Охваченные непреодолимым восторгом, который обернулся для них жестокой, нестерпимой душевной пыткой, они даже не решились посмотреть друг другу в глаза и за весь концерт не обмолвились ни единым словом.

В полночь, когда избранные представители музыкальных обществ и Парижской консерватории распрягли лошадей и сами с триумфом потащили карету великого артиста к его дому, оба немца вернулись в свое скромное жилище. На них было жалко смотреть. Мрачные и удрученные, они сидели на своих обычных местах у камина и хранили молчание.

«Самуэль! – воскликнул наконец Франц, бледный, как смерть. – Самуэль, нам остается теперь только умереть... Ты слышишь меня?.. Мы ничтожества! Мы были безумцами, когда полагали, что в этом мире кто-то может соперничать с ... ним!» Имя Паганини застряло у него в горле, и Франц обреченно рухнул в кресло.

Морщинистое лицо старого учителя вдруг побагровело. Его зеленые глазки засветились мерцающим светом, когда, наклонившись к ученику, он прошептал хриплым надтреснутым голосом: «Нет, нет! Ты ошибаешься, мой Франц! Я учил тебя, и ты овладел всеми тайнами великого искусства, которые простой смертный и вдобавок крещеный христианин может перенять у другого такого же простого смертного. Разве есть моя вина в том, что эти проклятые итальянцы прибегают к услугам Сатаны и дьявольским ухищрениям черной магии, чтобы безраздельно господствовать в искусстве?»

Франц взглянул на своего учителя. В его воспаленных глазах горел злоеющий огонек, который недвусмысленно говорил ему, что для того, чтобы обрести подобное могущество, он тоже должен продать свое тело и душу дьяволу.

Однако Франц не проронил ни слова и, отведя взгляд от Клауса, задумчиво посмотрел на догорающие угли.

Сонмы давно забытых бессвязных грез, которые в дни юности казались Францу такими реальными, а потом были им отвергнуты и постепенно стерлись из памяти, теперь вновь наполнили его сознание так же ярко и живо, как и прежде. Воскресшие тени Иксиона, Сизифа и Тантала предстали перед его мысленным взором, гримасничая и вопрошая: «Что значит ад для тебя, человека в него не верящего? Но даже если ад действительно существует, то это ад, описанный древними греками, а не нынешними изуверами, то есть местность, населенная разумными теньями, для которых ты можешь стать вторым Орфеем».

Франц почувствовал, что вот-вот сойдет с ума, и, машинально повернув голову, он снова посмотрел прямо в глаза своему старому учителю, а затем отвел взгляд от его воспаленных очей.

То ли Самуэль понял, что творится в душе его ученика, то ли решил отвлечь его от мучительных размышлений, – это останется загадкой как для читателя, так и для самого автора. Но какими бы ни были его намерения, немец произнес с притворным спокойствием: «Франц, мой дорогой мальчик, я говорю тебе, что мастерство этого проклятого итальянца лишено естественности, что дело здесь не в трудолюбии и одаренности. Не смотри на меня так дико, ибо то, о чем я говорю, на устах у миллионов людей. Выслушай меня и постарайся понять. Тебе известна странная история, которую рассказывают о знаменитом Тартини? Он умер в одну прекрасную ночь, ночь шабаша, задушенный своим демоном, который научил его тому, как заставить петть скрипку человеческим голосом, вложив в нее посредством заклинаний душу юной девы. Паганини сделал больше. Чтобы наделить свой инструмент способностью издавать человеческие звуки, такие как рыдания, крики отчаяния, мольбы, стоны любви и ярости, словом научить скрипку передавать самые пронзительные оттенки человеческого голоса, Паганини убил не только свою жену и любовницу, но и своего друга, который относился к нему с такой нежностью, как никто другой на свете. Затем он сделал четыре струны для своей волшебной скрипки из кишок последней жертвы. В этом заключается секрет его завораживающего таланта, той всепоглощающей мелодии, того сочетания звуков, которыми тебе никогда не удастся овладеть, если только...»

Старик не закончил последней фразы, пораженный дьявольским взглядом ученика, и закрыл лицо руками. Франц тяжело дышал, и вы–ражение его глаз напомнило Клаусу взгляд гиены. Он был смертельно бледен. Какое-то время он не мог говорить и только ловил ртом воздух. Наконец он едва слышно произнес: «Ты в этом уверен?» – «Конечно, я даже надеюсь тебе помочь».– «И... и ты действительно думаешь, что, только добыв струны из человеческих кишок, я смогу соперничать с Паганини?!» – спросил Франц после короткой паузы и опустил глаза. Старый немец открыл лицо и с каким-то странным вы–ражением решимости на нем, тихо ответил: «Нам нужны не просто человеческие внутренности. Они должны принадлежать человеку, который любил вас по-настоящему – бескорыстной святой любовью. Тартини наделил свою скрипку душой девы. Но она умерла от безответной любви к нему. Коварный музыкант заранее приготовил сосуд, в который ему удалось поймать ее последний вздох, когда, умирая, она произнесла его дорогое имя; и Тартини затем передал ее дыхание своей скрипке. Историю о Паганини ты от меня уже слышал. Он, однако, заручился согласием своей жертвы, чтобы добыть человеческие кишки».

«О всемогущий человеческий голос! – продолжал Самуэль после короткой паузы.– Что может сравниться с его красноречием, его пленительным обаянием? Ты думаешь, мой бедный мальчик, что мне не надо было посвящать тебя в эту великую последнюю тайну, но как быть, если тебя бросает прямо в объятия к тому... кого не следует поминать ночью?» – добавил Клаус, неожиданно возвращаясь к суевериям своей молодости.

Франц, не сказав ни слова, с ужасающим спокойствием поднялся, снял со стены свою скрипку, резким и сильным движением оборвал на ней струны и швырнул из в огонь.

Самуэль едва не вскрикнул от ужаса. Струны шипели на углях и, словно живые змеи, извивались и скручивались среди пылающих поленьев.

«Клянусь ведьмами Фессалии и колдовскими чарами Кирки! – воскликнул он, брызгая слюной, с горящими как угли глазами.– Клянусь адскими Фуриями и самим Плутоном, о Самуэль, мой учитель, что не притронусь к скрипке до тех пор, пока на ней не будут натянуты четыре человеческие струны! И пусть я буду проклят навеки, если нарушу эту клятву!» И он упал без чувств на пол с глухими рыданиями, которые, стихая, напоминали причитания возле тела усопшего. Старый Самуэль взял его на руки, словно ребенка, и отнес на постель, после чего поспешил за доктором.

IV

После той ужасной сцены Франц тяжело заболел, и заболел почти неизлечимо. Врач нашел у него воспаление мозга и сказал, что надо подготовиться к худшему. Девять долгих дней больной бредил; и Клаус, который ухаживал за ним, не отходя от его постели ни на минуту, заботясь о нем, как самая нежная мать, пришел в ужас от деяния своих рук. Впервые со времени их знакомства, благодаря тому, что его ученик впал в бредовое состояние, он смог проникнуть в самые темные уголки этой странной, суеверной, холодной и в то же время страстной натуры. И Клаус был потрясен тем, что ему открылось. Он увидел Франца таким, каким тот был на самом деле, а не тем, кем казался посторонним людям. Музыка была смыслом его существования, а похвалы – воздухом, которым он дышал, и без которого жизнь становилась для него тяжким бременем. Лишь струны скрипки были для Стенио источником энергии, но для того, чтобы поддерживать огонь жизни, ему были нужны аплодисменты людей и даже богов. Клаус с изумлением обнаружил искреннюю, артистическую, земную душу, но божественное начало в ней напрочь отсутствовало. У этого питомца муз, наделенного богатым воображением и каким-то рассудочным поэтическим даром, не было, однако, сердца. Вслушиваясь в этот иступленный бред, в то, что возникало в больной фантазии Франца, Клаус чувствовал себя так, будто впервые за всю свою долгую жизнь исследовал удивительную неизвестную страну – человеческую природу, но не в нашем мире, а на какой-то еще незавершенной планете. И увидев все это, Клаус содрогнулся. Не раз он задавался вопросом: а не окажет ли он услугу «своему мальчику», если позволит

ему умереть, прежде, чем Франц придет в чувства?

Но он слишком сильно любил своего ученика, чтобы долго вынашивать подобную мысль. Франц околдовал его истинно артистическую натуру, и теперь Клаус чувствовал, что их жизни неотделимы одна от другой. Старик никогда не испытывал ничего подобного, поэтому он решил спасти Франца даже ценой своей долгой и, как ему казалось, впустую прожитой жизни.

На седьмой день болезни наступил ужасный кризис. Целые сутки больной не смыкал глаз и не замолкал ни на минуту, находясь в состоянии бреда. Он подробно описывал каждое из своих необыкновенных видений. Фантастические, призрачные тени нескончаемой и неторопливой процессией выплывали из полумрака его тесной комнаты, и Франц окликал каждую из них по имени, словно здоровался со своими старыми знакомыми. Себя же он называл Прометеем, ему казалось, что он прикован к скале четырьмя оковами, сделанными из человеческих кишок. У подножия кавказских гор бежали черные воды Стикса... Они покинули Аркадию и теперь пытались окружить семью кольцами скалу, на которой он мучился...

«Хочешь ли ты узнать, как называется Прометеева скала, старик? – прокричал он в ухо своему приемному отцу. – Тогда слушай... имя ей... Самуэль Клаус...» – «Да, да, – печально бормотал немец. – Это я погубил Франца, пытаюсь принести ему утешение. Рассказы о колдовстве Паганини слишком сильно поразили его воображение. О, бедный мой мальчик!» – «Ха! Ха! Ха! – больной разразился громким резким смехом. – Ах! Что ты говоришь, бедный старик?.. Да, да, ты не отличаешься большой стойкостью. Ты выглядел счастливым, только когда играл на прекрасной Кремоне!..»

Клаус вздрогнул, но ничего не сказал. Он только наклонился к бредившему молодому человеку и, поцеловав его в лоб с нежностью любящей матери, на некоторое время покинул комнату больного, чтобы привести в порядок свои мысли. Когда он вернулся, бред больного перешел в другую стадию: Франц пытался подражать звучанию скрипки.

А к вечеру этого дня больному стали мерещиться призраки. Он видел духов огня, которые хватались за его скрипку. Их костлявые руки с пылающими когтями, выросшими из каждого пальца, подзывали старого Самуэля... Они обступали учителя, собираясь растерзать его... «единственного человека на свете, который любит меня бескорыстной возвышенной любовью... чьи кишки могут принести хоть какую-то пользу!» – продолжал бормотать Франц с горящим взором и демоническим хохотом.

На другое утро жар, однако, спал, и к концу девятого дня Стенио поднялся с постели, ничего не помня о своей болезни и не подозревая, что позволил Клаусу прочесть свои самые сокровенные мысли. Да и мог ли он знать, что ему пришлось в голову принести в жертву своему честолюбию старого учителя? Вряд ли. Единственным непосредственным результатом его роковой болезни стало то, что, поскольку из-за принесенной клятвы его артистический дар не находил себе выхода, в нем проснулась другая страсть, которая могла дать пищу его тщеславию и необузданной фантазии. Он с головой ушел в изучение оккультных наук, алхимии и магии. Занимаясь магией, молодой мечтатель пытался заглушить тоску по своей, как он полагал, навсегда утраченной скрипке...

Проходили недели и месяцы, однако, ни учитель, ни его ученик больше не заговаривали о Паганини. Глубокая печаль овладела Францем. Оба они лишь изредка обменивались друг с другом несколькими словами. Скрипка висела на своем обычном месте – молчаливая, без струн, покрытая толстым слоем пыли. Словно рядом с ними находилось чье-то бездыханное тело.

Молодой человек помрачнел и стал язвительным, он избегал даже упоминаний о музыке. Однажды, когда его старый учитель после долгих колебаний извлек свою скрипку из запыленного футляра и приготовился что-нибудь сыграть, Франца передернуло, но он промолчал. Однако, едва раздались первые звуки, как в его глазах загорелся сумасшедший огонек, и Франц бросился вон из дома. Он долго бродил по городским улицам и не возвращался. Тогда Самуэль в свою очередь отшвырнул скрипку и уединился к себе в

комнату, откуда не выходил до самого утра.

Как-то вечером, когда Франц сидел особенно бледный и угрюмый, старый учитель вдруг вскочил со своего места и, подпрыгивая как сорока, приблизился к ученику, запечатлел у него на лбу нежный поцелуй и взвизгнул каким-то неестественно тонким голосом: «Не пора ли положить всему этому конец?..»

Тогда Франц, выходя из своего обычного летаргического состояния, отозвался на его слова каким-то задумчивым тоном, будто произнес это во сне: «Да, с этим пора кончать», после чего они разошлись по своим комнатам и легли спать.

Наутро, когда Франц проснулся, его удивило, что он не видит старого учителя, который обычно приветствовал его, сидя на своем месте. Но за последние несколько месяцев молодой человек сильно изменился и поэтому не придавал вначале особого значения его отсутствию. Он оделся и вошел в соседнюю комнату, маленькую гостиную, в которой они ели и которая разделяла их спальни. С тех пор как угли в камине потухли прошлой ночью, огонь никто не разжег, и бы— ло видно, что хлопотливые руки старого учителя, обычно занимавшегося домашними делами, нигде не оставили своих следов. Весьма этим озадаченный, но не встревоженный, Франц занял свое привычное место сбоку от остывшего камина и погрузился в бесплодные мечты. Когда он потянулся в кресле, заложив обе руки за голову — это бы— ла его любимая поза,— молодой человек смахнул что-то с полки позади себя, и на пол с грохотом обрушился какой-то предмет.

Это был футляр, в котором лежала старая скрипка Клауса. От удара он раскрылся, и скрипка, выпав из футляра, подкатилась к ногам Франца. Струны, задев о медную решетку камина, издали протяжный, печальный и заунывный звук, напоминающий стон безутешной души. Казалось, он наполнил всю комнату и проник в самое сердце молодого человека. Звон лопнувшей скрипичной струны произвел на него магическое действие.

«Самуэль! — закричал Стенио, и неведомый ужас вдруг овладел всем его существом.— Самуэль! Что случилось?.. Мой добрый, мой дорогой старый учитель!» И Франц устремился в его каморку и с размаху распахнул дверь. Никто не откликнулся, там было тихо. Молодой человек отпрянул назад, напуганный собственным голосом — таким неузнаваемым и хриплым он ему показался в ту минуту. Франц не дождался ответа. Стояла мертвая тишина, тот особенный покой, который обычно, если говорить о звуках, указывает на смерть. Когда рядом с вами находится покойник или когда вас окружает зловещее спокойствие склепа, подобная тишина обретает таинственную силу, которая наполняет чувствительную душу невыразимым ужасом. В комнате Клауса было темно, и Франц поспешил распахнуть ставни.

Самуэль лежал в своей постели холодный, окоченевший, безжизненный. Увидев труп того, кто так беззаветно его любил, заменив ему отца, Франц пережил чрезвычайно сильное потрясение. Однако честолюбие артиста-фанатика взяло верх над простым человеческим отчаянием, и очень быстро притупило душевную боль. На столе, неподалеку от кровати, где покоился мертвый Клаус, на видном месте лежало письмо, на котором было выведено имя Франца. Дрожащей рукой скрипач вскрыл конверт и прочитал следующее:

«Мой нежно любимый сын Франц! Когда ты будешь читать это пись— мо, я уже принесу величайшую жертву, на которую твой лучший и единственный друг решился ради твоей славы. Перед тобой лежит бренное тело того, кто любил тебя больше всего на свете. От твоего старого учителя осталась лишь кучка холодного органического вещества. Надеюсь, мне не надо говорить, как тебе следует с ним поступить. Не бойся глупых предрассудков. Я пожертвовал своим телом во имя твоей будущей славы. И ты отплатишь мне самой черной неблагодарностью, если эта жертва окажется напрасной. Когда ты заменишь струны на своей скрипке, и в них будет часть моего существа, под твоим смычком скрипка обретет силу колдуна и запоеет волшебным голосом инструмента Паганини. В ней будет звучать мой голос, мои вздохи и стоны, моя приветственная песня, мое безграничное и скорбное сострадание, моя любовь к тебе. А теперь, мой Франц, не бойся никого.

Взяв свой инструмент, неотступно следуй за тем, кто наполнил нашу жизнь горечью и отчаянием!.. Выступай всюду, где доселе царил он, не зная себе равных, и смело бросай ему вызов. О Франц! Только тогда ты услышишь, с какой магической силой твоя скрипка будет исторгать глубокие звуки беззаветной любви. Быть может, в прощальном прикосновении к ее струнам ты вспомнишь, что они заключают в себе частицу праха твоего старого учителя, который обнимает и благословляет тебя в последний раз.

Самуэль».

Горячие слезы потекли из очей Франца, но они тут же высохли. В порыве страстной надежды и гордости будущего артиста-чародея, уставившись в мертвенно бледное лицо покойника, его глаза загорелись каким-то дьявольским блеском. Мы не в силах описать того, что последовало вслед за соблюдением юридических формальностей. Поскольку старый учитель предусмотрительно оставил еще одно письмецо, адресованное властям, в протоколе записали: «самоубийство по непонятным причинам», после чего следователь и полицейские удалились, оставив осиротевшего наследника наедине с бранным телом, в котором еще недавно горел огонь жизни.

Прошло около двух недель с этого дня, прежде чем со скрипки смахнули пыль и натянули на ней четыре новые струны. Франц боялся даже взглянуть на них. Он попробовал что-то сыграть, но смычок задрожал, словно кинжал в руке у новоиспеченного разбойника. И тогда он решил не прикасаться к скрипке до тех пор, пока ему не представится случай вступить в состязание с Паганини и, может быть, даже его превзойти.

Тем временем знаменитый скрипач, покинув Париж, давал концерты в Бельгии, в одном старом фламандском городе.

V

Однажды вечером, когда Паганини сидел в ресторане гостиницы, где он остановился, окруженный толпой своих почитателей, молодой человек с пристальным взглядом вручил ему визитную карточку, на которой карандашом было написано несколько слов.

Устремив на незваного гостя свой взор, выдержать который могли немногие, он встретился с таким же спокойным и решительным взглядом, как и его собственный, и, едва заметно кивнув, сухо произнес: «Как вам угодно, сэр. Назначьте вечер, я к вашим услугам».

На другое утро горожане с удивлением увидели, что на каждом углу расклеены объявления такого содержания:

«Вечером такого-то числа в помещении такого-то театра перед публикой впервые выступит Франц Стенио, который приехал специальнo для того, чтобы бросить вызов всемирно известному Паганини и провести с ним дуэль на скрипках. Он намерен посостязаться с великим «виртуозом» в исполнении самого сложного из его сочинений. Франц Стенио сыграет «Каприз-фантазию» Паганини, имеющую также другое название – «Ведьмы». Великий музыкант принял вызов.

Афиши произвели на всех поистине магическое впечатление, Паганини, который среди своих громких триумфов никогда не упускал из виду материальных выгод, удвоил входную плату, однако, несмотря на это, театр не мог вместить всех, кому удалось достать билеты на этот незабываемый концерт.

Наконец наступил день концерта; «дуэль» была у всех на устах. Накануне Франц Стенио провел бессонную ночь, прохаживаясь взад и вперед по комнате, словно тигр в клетке, но под утро рухнул на кровать в полном изнеможении. Постепенно он погрузился в какое-то тяжелое забытие. Очнулся он, когда за окном забрезжил хмурый зимний рассвет, но, увидев, что еще слишком рано, Франц снова задремал. На этот раз ему приснился сон, настолько яркий и правдоподобный, что Франц, пораженный его жутким реализмом, пришел к выводу, что это было скорее видение, нежели сон.

Он оставил скрипку на столе рядом с кроватью. Инструмент был заперт в футляре,

ключ от которого он всегда носил с собой. С тех пор как Франц натянул на скрипке эти ужасные струны, он ни разу на нее не взглянул. И согласно своему решению, после той первой попытки он так и не коснулся смычком человеческих струн и с тех пор упражнялся на другом инструменте. Но теперь, во сне, он увидел себя смотрящим на закрытый футляр. Что-то в нем привлекло к себе внимание Франца, и он понял, что не в силах отвести от футляра взгляда. Вдруг крышка стала медленно подниматься, и в образовавшейся щели Франц разглядел два светящихся зеленых глаза, очень ему знакомых, они глядели на него нежно, почти умоляюще. Затем раздался тонкий, хриплый голос, который словно исходил от этих призрачных глаз. То были глаза и голос Самуэля Клауса. И Стенио услышал: «Франц, любимый мой мальчик... Франц, мне никак не удастся освободиться от ... них!» И «они» жалобно зазвенели в футляре. Франц потерял дар речи, охваченный ужасом. Кровь застыла в его жилах, и волосы зашевелились у него на голове. «Это всего лишь сон, нелепый сон!» – успокаивал он себя.

«Я как мог пытался, мой милый Францхен... Я пытался отделиться от этих проклятых струн, да так, чтобы не оборвать их ...» Знакомый хриплый голос взмолился: «Помоги мне!» И опять из футляра донесся звон, еще более протяжный и скорбный; он расходился от стола во всех направлениях, повинаясь какой-то внутренней энергии, и напоминал живое существо; однако с каждым натяжением струны звуки становились все более резкими и отрывистыми. Стенио не в первый раз слышал эти звуки, которые часто доносились до него после того, как он использовал внутренности старого учителя в своих честолобивых целях. Но всякий раз ощущение леденящего ужаса не позволяло ему доискиваться до причин, их вызывавших, и он старался убедить себя в том, что это были всего лишь галлюцинации.

Но сейчас трудно было отмахнуться от этого явления, происходившего то ли во сне, то ли наяву, да это было и не так уж важно, поскольку галлюцинация – если речь все же шла о ней – была гораздо более реальной и яркой, чем действительность. Франц хотел что-то сказать, подойти поближе, но, как это часто бывает в кошмарных снах, не мог ни выдать из себя хотя бы слово, ни пошевелить пальцем.

Удары и толчки становились все сильнее, и, наконец, что-то внутри футляра разорвалось с оглушительным звуком. Видение скрипки Страдивари, лишившейся своих волшебных струн, вспыхнуло перед его глазами, и Франца бросило в холодный пот. Он предпринял нечеловеческие усилия, чтобы освободиться от сковавшего его ужасного видения. И когда невидимый дух умоляюще прошептал: «О, помоги мне освободиться от...», Франц одним прыжком подскочил к футляру, словно разъяренный тигр, защищающий свою добычу, и судорожным усилием рассеял чары. «Оставь скрипку в покое, старый демон!» – закричал он хриплым дрожащим голосом.

С яростью захлопнув приподнявшуюся крышку и придавив ее левой рукой, он схватил со стола кусочек канифоли и начертил на обтянутой кожей поверхности шестиконечную звезду – знак, которым царь Соломон загонял злых духов обратно в их темницы.

Из футляра донесся вопль, подобный вою волчицы, оплакивающей своих малышей. «Ты неблагодарен, о, как ты неблагодарен, мой Франц! – простонал рыдающий голос духа. – Но я прощаю... ибо попрежнему люблю тебя. Ты больше не сможешь держать меня здесь... мальчик. Смотри же!» И тут футляр и стол окутал серый туман; поднимаясь вверх, он поначалу принимал какие-то неясные очертания. Затем облако стало разрастаться, и Франц почувствовал, как его обвивают холодные влажные кольца, такие же скользкие, как тело змеи. Он вскрикнул и... проснулся; но оказалось, что Франц лежит не на постели, а возле стола, как это ему приснилось, и отчаянно сжимает обеими руками футляр скрипки. «Впрочем, это был сон...» – пробормотал он, еще ощущая страх, но уже освободившись от тяжести на сердце.

С большим трудом взяв себя в руки, он отпер футляр, чтобы осмотреть скрипку. Она была в прекрасном состоянии и только покрыта слоем пыли. Франц вдруг почувствовал себя, как никогда прежде, хладнокровным и решительным. Вытерев пыль с инструмента, он тщательно натер смычок канифолью, подтянул и настроил струны. Он даже попробовал

сыграть начало «Ведьм», сначала робко, а потом все более уверенно и смело водя смычком по струнам.

Звучание этой громкой одинокой мелодии – вызывающей, словно звук военной трубы завоевателя, нежной и величавой, напоминающей игру ангела на его золотой арфе, – вызвало в душе Франца трепет. Ему открылись возможности, о которых он доселе не подозревал: смычок, порхавший по струнам, извлекал мелодию, поражающую богатством интонаций, которые музыкант никогда раньше не слышал. Начиная с непрерывного легато, смычок пел ему о солнечной надежде и красоте, о прекрасных лунных ночах, когда каждая былинка, все живое и неживое окутывает нежная благоухающая тишина. Через несколько мгновений это был уже поток музыки, красота которой была способна «облегчить страдания» и даже укротить безжалостных злых духов, присутствие коих весьма отчетливо ощущалось в этом скромном гостиничном номере. И вдруг торжественная песнь легато, вопреки всем законам гармонии, затрепетав, переросла в арпеджио и завершилась резким стаккато, похожим на смех гиены. То же ощущение сковывающего ужаса вновь овладело Францем, и он отбросил смычок в сторону. Музыкант услышал знакомый хохот, вынести который ему уже было не под силу. Одевшись, он осторожно положил заколдованную скрипку в футляр, запер его и вышел в гостиную, решив спокойно дожидаться предстоящего испытания.

VI

Роковой час схватки наступил. Стенио стоял на своем месте спокойный, уверенный, едва ли не с улыбкой на лице. Театр был набит до отказа, зрители теснились даже в проходах. Весть о необычном состязании достигла каждого квартала, до которого ее смогли донести почтальоны, и деньги потоком посыпались в бездонные карманы Паганини, причем в таком количестве, которое могло удовлетворить даже его ненасытную и корыстолюбивую душу. Было условлено, что первым начнет Паганини. Когда он вышел на подмостки, толстые стены театра вздрогнули до самого основания от бури аплодисментов. Он целиком исполнил свое знаменитое сочинение «Ведьмы», вызвав овацию. Восторженные крики публики не умолкали так долго, что Франц уже начал думать, что его черед никогда не настанет. Когда же, наконец, Паганини под гром аплодисментов обезумевших от восторга зрителей направился за кулисы; посмотрев на Стенио, настраивающего свою Скрипку, он был поражен невозмутимым спокойствием и уверенным видом неизвестного немецкого музыканта. Когда Франц приблизился к рампе, его встретило ледяное молчание. Но он нисколько не был смущен этим обстоятельством. Франц был очень бледен, но на его тонких побелевших губах застыла язвительная улыбка, которая была ответом безмолвному недоброжелательству публики. Он был уверен в своей победе.

При первых звуках прелюдии «Ведьм» по залу прокатилась волна удивления. Это была манера Паганини, но и нечто большее. Многие зрители – а их было большинство – сочли, что никогда, даже в минуты наивысшего вдохновения, итальянский музыкант не исполнял свое сатанинское сочинение с такой необыкновенной дьявольской силой. Под гибкими сильными пальцами Стенио струны трепетали, точно внутренности выпотрошенной жертвы под скальпелем вивисекциониста. Они издавали мелодичный стон, напоминающий стон умирающего ребенка. Взгляд огромных синих глаз музыканта, устремленный на резонатор скрипки, казалось, вызывал самого Орфея из ада, а не звуки, которые должны были зарождаться в глубинах скрипки. Можно было подумать, что звуки обретают зримые очертания, превращаясь в существа, вызванные к жизни могущественным волшебником, и кружатся вокруг него, подобно сонму фантастических inferнальных видений, в дикой козлиной пляске. В темной пустующей глубине сцены за спиной исполнителя разворачивалась непередаваемая словами фантазмагория. Неземные трепещущие звуки, казалось, создавали картины бесстыдных оргий и чувственных гимнов, которым предаются ведьмы на шабаше... Публикой овладела коллективная галлюцинация. Ловя ртом воздух, покрытые холодным потом и мертвенно-бледные, зрители застыли в неподвижности, не в

силах пошевелиться, чтобы рассеять чары музыки. Все они предавались тайным и расслабляющим удовольствиям магометанского рая, которыми наслаждается в своем расстроенном воображении мусульманин, потребляющий опиум, и в то же время ощущали жалкий страх, знакомый человеку, борющемуся с приступом белой горячки... Одни дамы визжали, другие падали в обморок, а крепкие на вид мужчины скрежетали зубами в состоянии полной беспомощности... Однако затем настало время финала. Непрекращающийся гром аплодисментов отсрочил его исполнение, затянув короткую паузу почти на четверть часа. Крики «браво» были неистовыми, едва ли не истерическими. Наконец, когда Стенио, чья улыбка была столь же сардонической, сколь и триумфальной, в последний раз низко поклонившись публике, поднял смычок, чтобы приступить к знаменитому финалу, взгляд его упал на Паганини, который с невозмутимым видом сидел в директорской ложе и был безучастен к неистовым овациям. Взор маленьких и пронизательных черных глаз генуэзского музыканта был прикован к скрипке Страдивари, которую Франц держал в руках, в остальном же Паганини выглядел спокойным и равнодушным. На какое-то мгновение лицо соперника встревожило Стенио, но к нему тут же вернулось самообладание, и, взмахнув смычком, он сыграл первую ноту.

Восторг зрителей достиг своей кульминации, теперь уже они действительно все видели и слышали. Голоса ведьм раздавались в зале, но их перекрывал один голос –

Нестройный, как бы неземной:
В нем лай собак и волка вой,
Совы полночной скорбный крик,
Шипенье змей и тигра рык,
И ветра стон во тьме лесов,
И гром средь рваных облаков,
И грохот волн, что бьются в брег, –
Все в нем слилось...

Волшебный смычок извлекал последние трепетные звуки, требующие необыкновенного мастерства и передающие стремительный полет ведьм, которые спешат скрыться, прежде чем вспыхнет рассвет, после своих ночных сатурналий. Но вдруг на сцене произошло нечто странное. Без всякого перехода мелодия резко изменилась. Звуки смешались, стали несогласованными, бессвязными... А потом из резонатора скрипки вдруг послышался писклявый и резкий, как у ярмарочного Петрушки, взвизгивающий старческий голос: «Франц, мальчик мой, ты доволен?.. Не правда ли, я сдержал свое обещание, а?» Колдовские чары рассеялись. И хотя нельзя было понять, что же все-таки происходит, те, кто услышал голос и интонации Петрушки, как по волшебству, освободились от оцепенения, в котором до сих пор пребывали. Теперь изо всех уголков просторного театра доносились взрывы хохота, издевательские реплики, наполовину рассерженные, наполовину раздраженные. Музыканты оркестра, чьи лица еще сохраняли бледность после пережитого непонятного волнения, теперь тряслись от смеха. Все зрители до единого поднялись со своих мест, пытаясь разрешить эту загадку. Однако они чувствовали слишком большое отвращение к произошедшему и слишком были расположены к смеху, что бы оставаться и дальше в этом зале. Вдруг море движущихся голов в партере и яме для оркестра опять застыло в неподвижности, точно пораженное молнией. То, что все увидели, было ужасно: красивое, хотя и безумное лицо молодого музыканта внезапно постарело, и его стройная прямая фигура сгорбилась, словно под бременем лет; но это было ничто в сравнении с тем, что удалось разглядеть наиболее впечатлительным натурам. Фигуру Франца Стенио теперь полностью заволокла похожая на облако полупрозрачная дымка, которая змеилась и все теснее обступала его, как бы готовясь окончательно поглотить музыканта. В этом зловещем высоком столбе дыма кое-кто распознал четко обозначившуюся нелепую фигуру ухмыляющегося, отвратительного на вид старика с распоротым животом, из которого вывалились

кишки, тянувшиеся к скрипке. И тогда в этой туманной зыбкой пелене показался скрипач, яростно водивший смычком по человеческим струнам. Своим перекошенным лицом он напоминал одержимых бесом, какими их изображали в средневековых соборах.

Неописуемая паника охватила зрителей и, в последний раз рассеяв чары, которые опять сковали людей, они, как сумасшедшие, ринулись к выходу. Это было похоже на прорвавшуюся плотину. Людской поток издавал нечленораздельные звуки, ревел, взвизгивал, протяжно и жалобно стонал. И в этой безумной какофонии оглушительно, точно кто-то стрелял из пистолета, одна за другой лопнули струны заколдованной скрипки.

Когда зал покинули последние зрители, перепуганный директор бросился на сцену в поисках незадачливого музыканта. Мертвый и уже окоченевший, он лежал за рампой, скорчившись в неестественной позе. Его шею обвили «кишечные струны», а сама скрипка разлетелась на мелкие кусочки...

Когда стало известно, что так называемый соперник Никколо Паганини не оставил ни гроша, генуэзец, вопреки своей вошедшей в поговорку скупости, оплатил его гостиничный счет и на свои деньги похоронил несчастного Франца Стенио.

Однако за это он попросил отдать ему обломки скрипки Страдивари, на память о том необыкновенном событии.



С любовью,
электронная библиотека
Theosophy-Books.org

